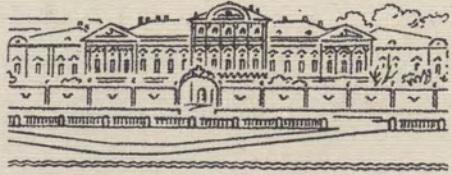
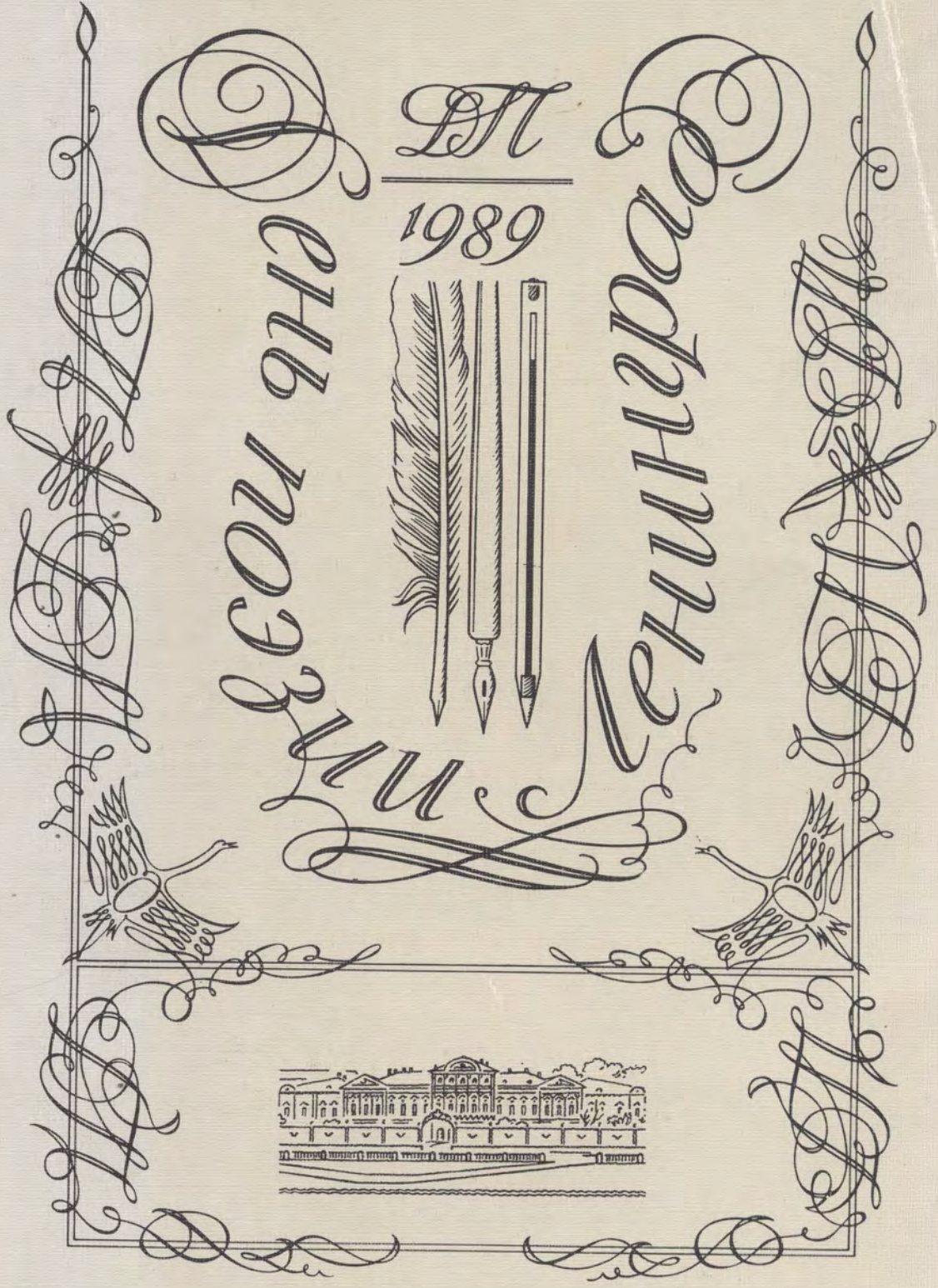


ЛН

День поэзии, Ленинград

1989



ЛН
 1989
 День поэзии
 Ленинград



ДЛ

1989

День поэзии
Ленинград



Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение
1989

ББК 84.Р7
Д34

Составители:

ТАТЬЯНА ГАЛУШКО, ВИКТОР МАКСИМОВ

РЕДАКТОР НЕЛЛИ МИЛОСЕРДОВА

Художник Ася Векслер

День поэзии 1989. Ленинград: Сборник.— Л.:
Д34 Сов. писатель, 1989.— 272 с.

ISBN 5-265-00689-3

В нынешнем ежегоднике публикуются: известные и неизвестные стихи Анны Ахматовой, ее письма, фотографии; воспоминания о встречах с поэтессой; в разделе «Свиток скорби» — имена писателей Ленинграда, погибших в годы сталинских репрессий, «лагерные» стихи Елены Тагер, Даниила Андреева; подборки стихов Константина Вагинова, поэта-эмигранта Дмитрия Кленовского, недавно ушедших из жизни — Анатолия Аквилева, Татьяны Галушко, Юрия Голубенского, Сергея Кулле, Глеба Пагирева, Никиты Суслевича; стихи двадцати двух поэтов, ранее в «Дне поэзии» не печатавшихся, а также постоянных участников альманаха — ленинградских поэтов разных поколений.

Д $\frac{4702010202-238}{083(02)-89}$ 188—89

ББК 84.Р7

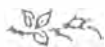
ISBN 5-265-00689-3

© Издательство «Советский писатель», 1989 г.

ЛН

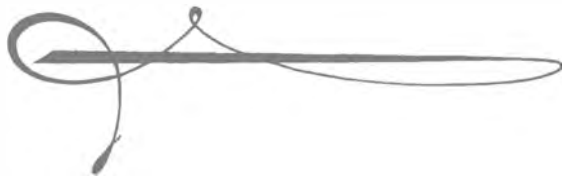


К столетию
со дня рождения
Анны Ахматовой
(1889 - 1966)





Анна Стенатова.



* * *

И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок,
И две в лесу скрестившихся тропинки,
И в дальнем поле дальний огонек,—

Я вижу все. Я все запоминаю,
Любовно-кротко в сердце берегу.
Лишь одного я никогда не знаю
И даже вспомнить больше не могу.

Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!
Мне холодно... Крылатый иль бескрылый,
Веселый бог не посетит меня.

*30 ноября 1911
Царское Село*



* * *

Цветов и неживых вещей
Приятен запах в этом доме.
У грядок груды овощей
лежат, пестры, на черноземе.

Еще струится холодок,
Но с парников снята рогожа.
Там есть прудок, такой прудок,
Где тина на парчу похожа.

А мальчик мне сказал, боясь,
Совсем взволнованно и тихо,
Что там живет большой карась
И с ним большая карасиха.

1913



ВЕЧЕРОМ

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Как не похожи на объятия
Прикосновенья этих рук.

Так глядят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса —
Ты первый раз одна с любимым».

1913



СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ

Сердце бьется ровно, мерно.
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки
Вижу, вижу, ты со мной,
И в руке твоей навеки
Нераскрытый веер мой.

Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес,—

Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий —
Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера,—
Над Невой темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

1913



* * *

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь,—

В ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

«РАССМОТРЕВ обращения в ЦК КПСС Союза писателей СССР [т. Маркова Г. М.] и Ленинградского обкома КПСС [т. Соловьева Ю. Ф.] об отмене постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград», ЦК КПСС отмечает, что в указанном постановлении ЦК ВКП(б) были искажены ленин-

ские принципы работы с художественной интеллигенцией, необоснованной, грубой проработке подвергались видные советские писатели.

Проводимая партией в условиях революционной перестройки политика в области литературы и искусства практически дезавуировала и пре-

одолела эти положения и выводы, доброе имя писателей восстановлено, а их произведения возвращены советскому читателю.

ЦК КПСС постановляет.

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» отменить как ошибочное».



Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный.

23 июня 1915
Слепнево

* * *

Наталии Рыковой

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес,—

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

1921

* * *

Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
О, горе мне! Эти могилы
Предсказаны словом моим.
Как вороны кружатся, чуя
Горячую, свежую кровь,
Так дикие песни, ликуя,
Моя насылала любовь.
С тобою мне сладко и знойно,

Ты близок, как сердце в груди.
Дай руки мне, слушай спокойно.
Тебя заклинаю: уйди.
И пусть не узнаю я, где ты.
О Муза, его не зови,
Да будет живым, невоспетым
Моей не узнавший любви.

Осень 1921
Петербург

МУЗА

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

1924



СТАНСЫ

Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Как крестный ход идут часы Страстной
недели.

Мне снится страшный сон.

Неужто в самом деле

Никто, никто не может мне помочь?

В Кремле не надо жить,— Преображенец
прав,—

Там зверства дикого еще кишат микробы,—
Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь взамен народных прав.

1940

Москва



* * *

...А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей —
Я не знаю, который год,—
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет.



А потом он идет с допроса,
Двум посланцам Девки Безносой
Суждено охранять его.
И я слышу даже отсюда —
Неужели это не чудо! —
Звуки голоса своего:

За тебя я заплатила
Чистоганом,
Ровно десять лет ходила
Под наганом,
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.

(Из «Поэмы без героя»)

ЧЕРЕПКИ

You cannot leave your mother an orphan.
*Joyce **

I

Мне, лишенной огня и воды,
Разлученной с единственным сыном...
На позорном помосте беды
Как под тронным стою балдахином...

II

Вот и доспорился, яростный спорщик,
До енисейских равнин...
Вам он бродяга, шуан, заговорщик, —
Мне он — единственный сын.

* Ты не можешь оставить свою мать сиротой. *Джойс. (англ.) — Ред.*



III

Семь тысяч и три километра...
 Не услышишь, как мать зовет
 В грозном вое полярного ветра,
 В тесноте обступивших невзгод,
 Там дичаешь, звереешь — ты милый,
 Ты последний и первый, ты — наш.
 Над моей ленинградской могилой
 Равнодушная бродит весна.

IV

Кому и когда говорила,
 Зачем от людей не таю,
 Что каторга сына сгноила,
 Что Музу засékли мою.
 Я всех на земле виноватей,
 Кто был и кто будет, кто есть,
 И мне в сумасшедшей палате
 Валяться — великая честь.

V

Вы меня, как убитого зверя,
 На кровавый подымете крюк,
 Чтоб, хихикая и не веря,
 Иноземцы бродили вокруг
 И писали в почтенных газетах,
 Что мой дар несравненный угас,
 Что была я поэтом в поэтах,
 Но мой пробил тринадцатый час.

Конец 40-х — начало 50-х годов



* * *

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу.
А я иду — за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

1940

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,—
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

23 февраля 1942
Ташкент

* * *

Особенных претензий не имею
Я к этому сиятельному дому,
Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца... Я нищей
В него вошла и нищей выхожу...

1952

ПРИМОРСКИЙ СОНЕТ

Здесь все меня переживает,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.
И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц лет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.

*Июнь 1958
Комарово*

Л Е Т Н И Й С А Д

Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.

В душистой тени между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуюсь красой своего двойника.

И замертво спят сотни тысяч шагов
врагов и друзей, друзей и врагов.

А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.

Там шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви.

И все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.

*9 июля 1959
Ленинград*

Р О Д Н А Я З Е М Л Я

И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

1922

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем,
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своєю.

*1961
Ленинград. Больница в Гавани*

СЛУШАЯ ПЕНИЕ

Женский голос как ветер несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснется —
Все становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.

*19 декабря 1961 (Никола Зимний)
Больница им. Ленина*

ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Какое нам, в сущности, дело,
Что все превращается в прах,
Над сколькими безднами пела
И в скольких жила зеркалах.
Пускай я не сон, не отрада
И меньше всего благодать,
Но, может быть, чаще, чем надо,


Придется тебе вспоминать —
И гул затихающих строчек,
И глаз, что скрывает на дне
Тот ржавый колючий веночек
В тревожной своей тишине.

*Москва
6 июня 1963*

* * *

И это станет для людей
Как времена Веспасиана,
А было это — только рана
И муки облачко над ней.

*18 декабря 1964. Ночь
Рим*





**ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ
НИНА БЕЛЬСКАЯ
НИКОЛАЙ ГОЛЬ
НАТАЛЬЯ ГРАНЦЕВА
ИГОРЬ ДОЛИНЯК
ЕЛЕНА ДУНАЕВСКАЯ
ЕВГЕНИЙ КАМИНСКИЙ
НИКОЛАЙ КОНОНОВ
ВИКТОР КРИВУЛИН
ТАТЬЯНА ЛАПШИНА
БОРИС НОВОГРУДСКИЙ**

**СЕРГЕЙ НОСОВ
МИХАИЛ ОКУНЬ
ЕЛЕНА ПУДОВКИНА
АЛЕКСЕЙ ПУРИН
СЕРГЕЙ СКВЕРСКИЙ
ЕЛЕНА УХОВА
ЕЛЕНА ФИЛИППОВА
АЛЕКСЕЙ ФЛОТСКИЙ
АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ
ЕЛЕНА ШВАРЦ
ЭРИК ШМИТКЕ**





ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ

САКСОФОНИСТ

О, что за смертная тоска
Так долго пить из мундштука,
Тянуть, захлебываясь звуком,
И извиваться, как змея,
Сквозную рану затая,
Мелодий рваные края
Сшивая жестом сухоруки!

Глагол времен. Металла звон.
Всечасным гудом утомлен,
Он сам себя уже не слышит,
Сжимая гнутую трубу,
Без трепета на ясном лбу,
Ничем не осененный свыше.

Но звука раскаленный гвоздь
Достиг, пронзающий насквозь,
Души, крылатой поневоле,
Когда впотьмах ее одну,
Прервав, он бросил на кону,
Из мундштука стряхнув слюну,
Последнюю улику боли.



* * *

На ящиках сидят пенсионеры,
Необычайно схожи их манеры,—
Кто здесь отставники, кто инженеры,
Кто просто жил? Кто был допущен в сферы?

Недолго им осталось. Очень скоро
Они уйдут, освободивши место,
И мы под звук прощального оркестра
Задернем шторы.

Чтоб только эти ящики не стали
Манить и нас в насиженность припека,
Где луч процежен пыльными местами
И чудится, что поступили с нами
Не так жестоко.



НИНА БЕЛЬСКАЯ

ПАПЕ

Ты в каждой радости — грустинка,
На ясном небе облака.
Твоя любимая пластинка
Звучит... И памяти река
Меня уносит в травы лета,
Где неба синь среди ветвей,
Где снова я теплом согрета
Отцовской нежности твоей,
Где смерти черные чернила
Не залили любимых глаз,
Где все, что с нами рядом было,
Еще не отнято у нас.
Ты жив во мне, пока дышу я,
Пока не скована землей.
По волнам памяти кочуя,
Веду я разговор с тобой.

П О К А Д Ы Ш У

Пока дышу, не верю
В несбыточность мечты,
И в совести потерю,
В коварство красоты.

Не верю в слабость духа,
В предательство друзей.
Не верю, чтоб разлука
Была любви сильней.

Не верю, что доверью —
Обманутому быть.
И стойкое неверье
Мне помогает жить.



НИКОЛАЙ ГОЛЬ

В Р Е М Я

Во времени твоём и нашем,
в которое, как в поле, вышел,
в котором в общем смысле — пашем,
в котором в частном смысле — пишем,
в котором нет камней для башен,
в котором нет причин для странствий,
во времени твоём и нашем,
но в то же время — и в пространстве,
да-да, во времени, но также
еще в пространстве, между прочим,
будь снисходительно так же
ко мне, как я к тебе и прочим.

* * *

Ты метила в жизни высоко,
потом обтесалась, потом
смирилось прицельное око
с половником и утюгом.
И я начинал не без звона
и грохота тоже не без,

я знал вдохновенья законы
и славы искал у небес.
Мечтали остаться при деле —
и кто же из нас преуспел?
А мы ведь как лучше хотели.
Как хуже — никто не хотел.

НАТАЛЬЯ ГРАНЦЕВА

* * *

Забудь, душа, погасший, как фонарь,
Весь этот детский мир послевоенный,
Где, словно перепончатая тварь,
Судьба спала, когтями впившись в стену.

Где, сквозняками хриплыми дыша,
Стояли изувеченные зданья
И шорох юбок вдовьих заглушал
Ребячьих игр веселое звучанье,

Где перед сном, от радости устав,
Не раз меж крыш в какой-то миг короткий
Мы видели, как ангел пролетал
В зеленой плащ-палатке и пилотке,

И чей-то вздох нам слышался, и стон,
И плач, и слово древнего моленья,
Когда, дозор свой завершая, он,
Хранитель наш, скрывался в отдаленье.

* * *

Когда грохочут дальние бои,
И юноши чужие умирают,
И дети обожженные, в крови
Безжизненные руки простирают,
Когда мальчишка ростом с автомат,
Как дух народный набирая силу,
В слезах кричит, что он теперь солдат,
Над черною отцовскою могилой,—
Прости, что я, задумавшись, молчу
И взгляда на тебя не поднимаю
И, прислонившись к твоему плечу,
Вдруг слов любви твоей не понимаю...

* * *

Был день как день, и приближался вечер.
Единство и борьба противоречий
В неслышную гармонию сплелись.
Шли танки, оскверняя Галилею,
И грозною кометою Галлея
Печать и мир научный занялись.

Но нас с тобою не касалось это.
Мы просто шли по теплой глади лета,
Счастливые, и в юности по грудь.
Мы просто шли, смятением болея,
Меж лиственниц васильевской аллеи,
И был неясен наш вечерний путь.

Кинотеатр с боевиком заморским,
Аптека, пирожковая, киоски —
Все промелькнуло, скрылось без следа.
Свернув направо, меж огней туманных
Мы просто шли — а рядом бездыханно
Вниз по теченью двигалась вода.

Там корабли пустые возвышались,
Там жил простор, там радостней дышалось,
Там рыжих кранов стрелы поднялись.
Там извивались волны-василиски,
И ты сказал, что осень где-то близко,
Проходит лето, но не жизнь, не жизнь!

Проходит век! Проходит, пролетает,
А мы, тысячелетий не считая,
Оглохшие, поем как соловьи.
Проходит век — над нами жизнь смеется:
нам эпос, как судьба, не удается,
Зато по горло лирики, любви.

Но нет среди нас ни Тютчева, ни Фета,
И слава, безвозвратная, как лето,
Далеко реет — в громе и цветах,
Нас не коснувшись ни лучом, ни взглядом,
Как малых певчих в сереньких нарядах,
Прошелкавших в жасминовых кустах.



ИГОРЬ ДОЛИНЯК

* * *

Когда ты уходишь отсюда,
здесь ветра ночного причуда
и ветра и снега разлад,
побитые пики и трефы
поземкам в шершавые шлейфы
из мертвых столетий летят,

безглазые маски кружатся,
бездомные всадники мчатся,
попонами воздух черня.
И помыслом горьким, и бредом
им, длинноплашовым и бледным,
и пасынок я, и родня.

А знаешь ты, лики какие
собой здесь мостят мостовые,
в мороз черепами звеня?
Булгарины, Дубельты, Гречи,
последыши их и предтечи
в мой век не пускают меня.

Когда ты уходишь отсюда,
тут праздник могильного блуда,
царь скачет, безумца гоня
под хруст барабанного стука.
Ты знаешь, какая здесь скука?
Как в бронзовом брюхе коня.

* * *

Евгению Рейну

За стрункой шпилья просторна ночь,
недвижней большой реки.
Вдоль парашетов без лиц, без нош
неслышно идут полки.

Какая рота? Который взвод?
Нет званий и нет имен.
Туманы загородных болот
в разрывах плывут колонн.

Где их фельдмаршал? Кто их комкор?
Какой им годится суд?
Они уходят за туч подзор,
в прозрачный небесный пруд.

В последней роте не полон ряд
и крайний — а кто такой? —
все оборачивается назад
и машет немой рукой.



СТАРАЯ СКАЗКА

На белой скатерти бывший друг
Поест, попьет. И уйдет.
Я слезы утру, я скатерть запру,
И тут мой жених войдет.

Ему на клеенке накрою я,
И сядет он есть, влюблен.
Он даже гордится, что белым я
До свадьбы храню свой лен.

* * *

Проходим оба свой урочный путь.
Но я люблю, и я тебя ревную.
Во сне я падаю к тебе на грудь
И шею постаревшую целую.

Ты мнительней становишься и злей,
Моя душа и силы на исходе,
И путь трудов, запретов и скорбей
Мы в обуви колодников проходим.

Но будем перед смертью вспоминать
Не дел своих застывшие побеги,
Но то, как ты не смел поцеловать
Меня в степи на призрачном ночлеге.

* * *

Не оглядывайся во гневе,
Не юродствуй в полночной мгле,
Ибо место любви — на небе,
Место жалости — на земле.

И кричи подлецам «спасибо»
Из юдоли слез и утрат.
Им еще тяжелее, ибо...
Ибо ведают, что творят.



ЗА ПЕРЕВАЛ

И пробил час. Открылась настежь дверь...
И ежился народ осиротело,
смотря на — столь безликое теперь —
душой изнывшей брошенное тело.

Как жить теперь? И в скорби жил испуг...
И судный день грозил вот-вот начаться...
Все, уходил отец народов, вдруг
сняв пальцы с горла чад и домочадцев.

И жизнь ему свою велик и мал
тянул — возьми! — и жег уста глаголом —
живи! А он ничью не принимал,
уже, похоже, ими сыт по горло.

Он и теперь, брезгливо стиснув рот,
как будто поцелуй вкусив Иудин,
судил здесь свой измученный народ
и — как господь — ему был неподсуден...

Но там, куда с заплаканной земли
он уходил, пока вокруг рыдали
заводы и кричали корабли,
там выли миллионы душ вдали
и ждали мрачной тьмой на перевале.

ОТ ШУМНЫХ УЛИЦ В СТОРОНЕ

От шумных улиц в стороне,
с котомкой, самым малым ходом,
уже не нужная стране,
но все еще зовясь народом,

вдали от праздничных колонн,
горячих лиц, полотен красных —
старуха — выжатый лимон
и отработанное масло.

Пока великая страна
чеканной поступью шагает
по главной улице, она
все в ногу с ней не попадает.

За лебеду, за боль до дна,
за вырытые рвы и ямы
по гроб обязана страна
ей сорока пятью рублями.

И, губы горькие сведея,
старуха в небо смотрит слепо,
молясь — о нет, не за себя,
прося для них тепла и света...

Виски в холодном серебре
и снег...

Ни боли не осталось,
ни даже жалости к себе...

Всё — к ним: и боль ее, и жалость.



МАМА ПРИЕХАЛА

1

Тишина пауз еще теплая, неостывшая. Ну разве можно так
Звук неволить, словно влагу в легоньких, мелких ванночках
Непросьхающих скрипок? Незагустевший антракт, заварной крем пирожного...
Совсем растрогалась, разволновалась моя мамочка.

Она музработник в детском саду, и все песни ей
Надоели безумно: сколько она их за свою жизнь разучивала.
«Видно, Коля, не получится в этом году еще раз приехать — перед пенсией
Каждый день на счету»,— шепчет. Где-то свет набухает за тучами.

Где-то хвойная оторопь, дрожь духовых, пожар можжевельника,
Крупная черника ударных, нет! подмороженная горькая рябина.
«Вот так и живу,— отвечаю ей тихонько,— от субботы до понедельника
Передышка короткая, дни, как трамваи, проходят мимо».

И что в стихи лезет вся эта захватанная, мелкая,
В паутине, в лапнике жизнь общая — щебет, кашель, неразбериха.
Столики в буфете заставлены стаканами, перепачканными тарелками.
Боже мой, как на сердце тихо.

А ведь казалось раньше, что в любой столовой или булочной
Можно лирическую тему найти; какое дело до лимфы,
До крови угрюмой, до биения, походки тихой шагом прогулочным
В палисаднике тела родного. О душа, располневшая нимфа!

2

Нежности легкие гнутые алюминиевые саночки,
На крупчатке хрустящие детские полозья...
По всем магазинам за два дня моя мамочка
Стремглав пролетела.
Нахлобученные фуражки очередей, взор исподлобья.

Ей нужно крупноклетчатое скромное такое демисезонное
Пальто приличное, ста сорока рублей, не дороже.
Какие на глаза плотные занавески приспущены полутемные,
Отекшие, располнела как, боже!

А все льнет к юркому заточенному каблуку высоченному,
В третий раз мне рассказывает, как двойняшки дочки
У жены Толи Бурмистрова родились недоношенными. Зачем ему
Сразу две? Прежних повадок осколочки и кусочки.

И счастливая дивная шелка между резцами расширилась,
Разошлась у мамочки. Улыбается не так безмятежно,
Как раньше, пока отец служил еще. Как Пленире вся
Чепуха к лицу была — шубка беличья, вытирающаяся нежно...

Все за руку меня держит в магазиновой роще. «Стоило
Более приличные гардины купить,— говорит,— ваши
Никуда не годятся». И на сердце холодок, зеленая промoinна.
Снег мягкий выпавший, подтаявший, пропавший.



ВИКТОР КРИВУЛИН

Я М Б Ы

РЕСТАВРАЦИЯ

по неволе типографской
приказали наконец
подновить печальной краской
загородный праздничный дворец
и когда унылый колер
за решеткой разлился —
стало жить как поневоле:
как бы нужно да нельзя

НА ЯУЗЕ

в японских язвинах дождя
в заутреннем слабомолочном паре
все вьется вьется Яуза ведя
сквозь нерабочий колумбарий
промышленного кирпича
и мнится будто я лечу
на острие того луча
что забывает про Свечу
когда затушена свеча

СТУДЕНЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

прежние прежде всего керосином
пахли — дегтем и ворванью — вёсны
и не представить каким агрессивным
каким угрожающе взрослым
было студенчество сбитое в группки
у монумента Барклаю
о паства без Пастыря без мясорубки
Жизнь без конца и без краю!

ПИКЕТЫ МОРСКИХ КУРСАНТОВ ПЕРЕД ВЫСТАВКОЙ
АМЕРИКАНСКОЙ ГРАФИКИ В ФЕВРАЛЕ 1968 ГОДА

от символической весны
Парижской или Пражской
мы хорошо защищены
работающей пряжкой
того матросского ремня
какой — свистя и воя —
обрушивался на меня
внесенного с толпой
куда-то... знает Бог куда —
уже и не припомнишь
все будто вышибло тогда
когда я звал на помощь

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ХОЛОДА

подозрительные холода
исполкомовский шухер насчет обогрева
суета по начальству законы смещаются влево
до отказа открытые краны — но где же вода?

мне твердят о гражданской позиции те же чины
что и прежде о том же твердили
если правда что э т о

подобие Пражской весны —
почему они воду с утра перекрыли?

ТО ЧТО МЫ ГОВОРИЛИ

то что мы говорили на грани
шепота и тюрьмы —
как-то странно звучит
по центральной программе
словно мы — это больше не мы
но в зубах комментатора слово родное
как дурной перевод
на жаргон воровской на язык паранойи
на блатную музыку болот

ДЛЯ НИХ И ДЛЯ НАС

для них — таможенный контроль
а нам лишь Музыка! на пунктах неприступных
глухая торжествует боль
ее оргán в уступах трубных
ее турецкий барабан
ее железный треугольник —
и я читаю по губам
о ч е м поется в песнях горних

ТАТЬЯНА ЛАПШИНА

ДЕРЕВЦЕ

Деревце растет на городском балконе.
Это выглядит странно и легкомысленно —
Сразу видно, что у него ветер в кроне.
Взрослые деревья перешептываются укоризненно:
«Ишь, куда занесло его!
Хочет быть в центре внимания.
Росло бы себе на земле, соблюдая приличия.
Может, у него расстройство психики —
Какая-нибудь мания?»
А молодому созданию расти на верхотуре привычно:
Приятно, что прохожие хвалят его за смелость,
Хозяйева балкона поливают водопроводной водицей...
Деревце посмеивается: «Кому бы так жить не хотелось?»
А корни судорожно ищут, за что бы еще ухватиться.

МУКИ ГОРОДА

Теряет город старые строения —
Их удаляют с болью, словно зубы.
Коробится гримасой сожаленья
Его лицо, и сводит страхом губы.

Пусть городу твердят: «Судите трезво —
Их ремонтировать и трудно, и накладно.
Получите прекрасные протезы!»
Мой город шепчет: «Будь оно неладно...»



БОРИС НОВОГРУДСКИЙ

ОДНИ И ДРУГИЕ

Одни в очередях стоят
Со всеми, портят нервы,
Другие что-то говорят —
Им отпускают первым.

Одни, с начальством не в ладах,
Доходят до нахальства,
Другие только «да» да «да!» —
Их слушает начальство.

Одни и вдоль и поперек
Снуют, не зная страха,
Другие — хлоп! под козырек —
И ждут уплаты штрафа.

Одни, обегав все, глядят
И места не находят,
Другие там уже сидят
И долго не выходят.

С О Н Е Т

Уже Сервантес написал роман,
И началась эпоха Дон Кихота.
Благих порывов розовый туман.
На крылья мельниц конная охота.

Туман сгустился в толстые тома,
Чтоб жизнь сама игралась, как по нотам.
На души благородных Дон Кихотов
Ложились тени горя от ума.

Вот тенью над землей скользит «фарман».
Вот тени палачей с тенями пулеметов.
Вот тенью жизни — жизнь теней — киноэпран...

И мрачный век смеялся до икоты.
Штанины волоча, болтлив и пьян,
Шел бравый Швейк на смену Дон Кихоту.

* * *

А на лугу — трава, и теплая корова
Моргает часто, мух сгоняя с век.
Жует и смотрит, как дурак здоровый
Уже давно стоит на голове.

Она бы не смогла, рогами в землю вперясь,
Копыта подломив, другие оторвать
И так стоять колом... И в йогу вот не верит
Наивно, истово... И как тогда жевать?

Какие у людей ненужные пристрастья!
А лучше попросту. Косить, поить, доить,
Коровник починять, хлеб, соль давать почаще,
Менять подстилку и к быку водить...

Глупцы! Как можно есть свиное сало?!
Но кое-что у них!.. Давали пирога...
Да, людям подражать — коровам не пристало...
И, перестав жевать, вдруг встала на рога.



СЕРГЕЙ НОСОВ

* * *

Боль — как вода
в которой можно утопиться
и по которой в то же время можно плыть
к другому невидимому и неведомому
берегу бытия
вдыхая молчание и выдыхая крик
разбегающийся мелкой дрожащей рябью

холодно
берег видимый и оставленный протянулся
как долгий взгляд
и каждое движение похоже
на гулкий шаг к небытию
может быть близкому
обрывающему тоненькую струну твоей жизни
с болезненным звоном
а может быть бесконечному
звездному как ночное небо
замороженное над головой.

* * *

Сегодня утро было особенно нарядным
проходя по комнатам
оно теснило тени сомнения
сдувало пыль скорби
и охотно разговаривало со всеми на их языке
окна были широко раскрыты
точнее распахнуты
и за ними
на задумчиво качающихся зеленых ветвях
пели большие желтые птицы покоя
узоры памяти переливались на стенах
и поскрипывающий паркет бытия казался особенно долговечным
лестница сбегала
как скромная белолицая девочка
в густой бормочущий с ветром сад
за которым —
это было отчетливо видно издали —
мускулистый человек
по пояс свешиваясь из окна черной башни
придерживал увесистую стрелку времени
на обнаженном циферблате городских часов.



МИХАИЛ ОКУНЬ

РАЗМЫШЛЕНИЯ

А если подумать, дела мои плохи —
Настолько я стал «порожденьем эпохи».

Набитый автобус в предутренней рани
Оставил мне первое воспоминанье.

Вели в детский сад, в переулках скользя.
Потом была школа, где столько «нельзя».

О, годы студенчества! Нет мне покоя —
Ведь пали они на период застоя.

«Кормушка», «элита» и «демпферный слой»
Но, кажется, мы одолели застой.

Я рад повороту в разрезе таком.
Вот только автобус, набитый битком...

ЧИНОВНИК

«На Ваш исходящий тата-татата-татата...» —
Пишу, но не варит моя голова ни черта.

На Ваш канцелярский суконный затертый
язык...

(Не я ли к нему будто с мясом прирос —
Так привык?)

Не я ли себе эти самые письма писал?
Не я ли, где надо, поддакивал или молчал?

В итоге: стеллажная пыль, дырокол, пустота,
На Ваш исходящий — тата-татата-татата...



ЕЛЕНА ПУДОВКИНА

* * *

Памяти М. Е. Салтыкова-Щедрина

Куда сегодня может занести
Гипербола сатирика лихого?
Куда б ни занесла — все повторится снова,
Не на листе уже, а во плоти.
Какой поэт возьмется предсказать
Клопиную избу, строительство канала?

То не Гомера дело — Ювенала.
А наша муза ответит глаза.
Я ж повторю, что нет страшней страны,
Страшнее и любимее, чем эта,
Где через век — не чаянья поэта,
А вымыслы сатирика верны.

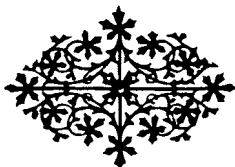
* * *

Огонь имеет страсть — и тем уже не страшен.
Не больше чем любовь губительна вода.
Но на краю земли у азиатских башен
Песок, песок, песок вступает в города.
Взошедший на костер в огне же и воскреснет.
О пленниках своих волна всплакнет не раз.
Лишь в пении песка, в его тоскливой песне
Ни слова нет о том, что ожидает нас.

* * *

Тысячеглазый ангел нелюбви
к нам прилетел, хоть мы его не звали.
Подметил все. Сказал: «В каком развале
вы здесь живете!» Пятна проявил
на скатерти. И, по губам прочтя
слова, дрожащие на острие обиды,
обрадовался. Но не подал виду,
что рад. Глазами поводил, хотя
все пахло смертью. Ни одна деталь
не устояла под холодным взглядом:
стакан сознался, что наполнен ядом,
кошмаром — зеркало, а тихая печаль —
отчаянием. Не знаю, до чего
довел бы гость, на все смотрящий косо,
пространство комнаты — наш кубомир
и космос,

когда б не заскрипела под ногой,
когда б не закричала половица
о том, что собиралась проломиться,
потом — о том, что из последних сил
держалась бы, когда б не наступил
час нелюбви. Потом — о том, что пятна,
конечно, мерзки, но бывают дни,
когда поют о хаосе они,
и слышать их и страшно, и приятно.
Еще о том, что безопасен яд,
накопленный в сознании стакана,
что зеркало пугливо и что ткань
из разных нитей, из всего подряд —
разреженное облако печали...
И что любовь, любовь была вначале.



БУДАПЕШТСКИЙ ЭКСПРЕСС

Ах, мадьярочки-венгерки в коридоре, покурить,
вдруг растрепанные ветром, разрешите мне пойти
в тамбур, нежно протереться, расступитесь, дверь открыть,
пропустите, дайте!.. Сердце тесно бьется взаперти.

И как раз на повороте скоростном... С ума сойду!
Словно поезд падать набок начинает вместе с нами
в жаркий свитер грубошерстый... Всю дорогу на виду
круглый купол эстергомский сложно вертят за холмами.

Здравствуй, здравствуй, многословный, изворотливый Дунай
с яркой искоркой песочной в голубом, зеленом зоре!
В стекла дождь при солнце брызнет Зевсом в поисках Данай...
Ну конечно, это эти, это трио в коридоре!

Не туристская поездка, а какое-то шитье,
вышиванье. Обгоняем с ветерком второй автобус!
Детский сон из серпантина, золотое забытье,
словно школьный гладколобий, синеглазый крутишь глобус...

Так в раю, наверно, с нами разговаривать начнут
на одном из непонятных, ослепительных наречий
и внезапно осекутся. Но вот в эти пять секунд
словно бог единый держит стебель общечеловечий!



* * *

Чертеж не клеится в июле!
Весь день у кульмана на стуле
сидишь, косясь в сырой проем,
с болтливым тополем вдвоем.
Как незначительное что-то,
как матч на кубок УЕФА,
как пустотелая строфа
в стихах, любимая работа
томит! И гипсовое лето
ложится пылью на стекло.
Чертеж не клеится! Но это
и хорошо. И лишь бы жгло
от приблизительности, фальши,
хоть есть и подпись, и печать!
Не знаешь, что тут делать дальше.
И нужно заново начать.

СЕРГЕЙ СҚВЕРСКИЙ

* * *

Деревья, пережившие блокаду,
Что много лет мой город стерегут,
Сегодня, словно пуделей, стригут,
Лишая их — ветвей, а нас — прохлады.

Что ж, по науке, может, так и надо,
Глядишь, густеет крона от ножа,
Идет побег, хотя — куда бежать?
Лишь в небо все того же Ленинграда.

Так дерево культуры Петербурга
Кромсали, оставался голый ствол.
Но по листку — изустно или в стол,
Пусть незаметно и не слишком бурно —
Рождались ветви, крепили, развились,
И кажется, что скоро эта крона
Вновь станет и густою, и огромной.
Дай Бог, чтоб все предчувствия сбылись.

* * *

Упаси, Господь, от глупости — поддаться искусителю,
Жизнь себе сломать ради книжонки средней.
Как они стеснялись, те стишки мои, просители,
Робко в кучку жались, словно ходоки в передней.

Нет уж, лучше гнить им без надежд на апелляцию,
Под замком в столе, не видя солнечного света,—
Полосатым арестантам — не страдать, не удивляться,
Что от дяди прокурора — ни ответа, ни привета.

Посмотри на бедных сих, выпущенных после срока.
Разве этакая жизнь в черновиках им рисовалась?
Как зажившиеся старцы: полки, пыль, тоска, морока,
Ну а давняя любовь заросла, зарубцевалась.



ЕЛЕНА УХОВА

В Е Т Е Р

Ветер творим людьми,
спянный из дыханий.
Их голоса из тьмы
бьются в ночи о камни.
Рвущийся со знамен,
словно из губ разжатых,
хриплый, как коногон
в штреках полярной шахты.
Вихрями — по плацу,
по переулкам — током,
холодом — по лицу,
свистом — по перепонкам.

Вдруг встрепенется зверь
на позабытый запах.
Выстрелом хлопнет дверь.
Вспышки огней внезапных.
Пусть раздувает, пусть —
что в темноте нашаришь!
Лучше уж захлебнусь
дымом былых пожарищ.
В недругах и в друзьях
память всю завертит, —
это же не сквозняк —
горький российский ветер.

* * *

Хитрый, что комар осенней тундры,
В чум скользнул. И, отпустив поклон,
Старику сказал: «Послушай, мудрый,
Я поймал птенца. Живой ли он?»
Затаился, выдумкой доволен:
«Скажет, жив — сожму слегка кулак.
Скажет, нет — пушу птенца на волю.
То-то старый попадет впросак!
Люди победителей не судят!»
А старик коснулся плоских скул:
«Как ты хочешь, мальчик, так и будет».
И на парня пристально взглянул.



ЕЛЕНА ФИЛИПОВА

* * *

время белых ночей
наслажденье очей
под гитару и шепот блуждание в парке
где обриты как панки
толстомордые русские парни
в чистых белых штанах
и жирке избыльных харчей

время бывших надежд
время горьких закатных лучей
мир как палуба жаждет заветного крена
лево лево руля
и они нам выходят на смену

подворотни пусты
собирается публика в скверах
воркотня наркоты
и глаза без испуга и веры
злой начес хохолков
деловая ударная кодла
жаль родных мотыльков
возвращаться им поздно
веет древней зимой
все мы станем землей
но на снимках стоят где-то в Юрмале
мальчики наши
лет пятнадцать назад
удивляются листьям опавшим
ветер
листья летят
улыбаются мальчики наши

—●—

* * *

я забыла дворы где сияли твои облака
словно снежные горы глядели в окно свысока
где роптала природа зевала на башенный звон
пропадала на плаце
а солдаты лупили в мишени
и выл саксофон
и мне было двенадцать

я забыла фонтан где блестела и пела вода
и фырчала на камень
и билась в истерике мелкой
бог казался далеко а школьный Гайдар
указательной стрелкой
не остаповым блюдцем
в те годы манила судьба
а суповой тарелкой

я забыла себя в той вихрастой подруге стрекоз
удивительной дуре
откуда в ней это бралось
и куда подевалось?
но на карточке старой пронизанной светом насквозь
это счастье осталось

на дороге песчаной
над летней присухой земли
угловатый подросток глядит на владенья свои
видно музыка жарит
вопят в репродуктор кастраты
над скамьей примятой
божественной прозой любви
вьется шепот крылатый



АЛЕКСЕЙ ФЛОТСКИЙ

ПОГРЕБЕНИЕ №...

В раскопе, словно в схороне сыром,
лежит скелет с простреленной ключицей.
И ржавчина ольховая сочится
в кладовку с теплым сусличьим зерном.

Любой колодец вычерпав, на дне
найдешь скелет. И нет воды прозрачней,
чем у жилья в растроченной стране,
когда журавль колодезный заплачет
и звякнет жесть ведерка на бревне.

Водой из костеносного пласта
прохожий напивается с ладони...
О победителях и побежденных
печаль, как выплаканная, чиста...

ГРАБИТЕЛЬ МОГИЛ

Изгой, неподвластные богам,
медь собирающие пчелы, отщепенцы...

С лампадкой масляной вращается в пещерке,
плечом и камнем просверлив курган,
добытчик, в тайну посвященный...

От ноши отшархнется шакал,
за ним вещунья — мышь летучая отпрянет.

Кому созвездья не царапали гортани —
еще не жил, не грабил, не дышал,
не расставался утром ранним.

И снова свет в разрывах облаков
течет то золотом, то оловом из тигля,
и снова женщина с подойником окликнет,
и, переполнив мир, дыханье очагов
опустошенного настигнет.

П Р А Щ У Р

За поворотом рассвело,
и ничего не жаль.
Горы ковыльное крыло
зачерпывает даль.

Внизу кочевья, стаи стад,
земных дорог узлы...
Как на угольях береста —
узорочье грозы.

В туманном горле жоака,
под коркой ледяной,
глоток восхода засверкал
настигнутой звездой.

Лишь промелькнет, что снова жизнь
короче, чем любовь,
чем боль и слава, что цветист
на тризне слог волхвов.

И В А Н Г О Р О Д

Под вечер башен кровли расцветают.
Не крепость — сад незащищенный...
Покойна, как распахнутая ставня,
стена заречного донжона.

Два выпуклых щита на белых скалах,
два камня, падавших в ущелье...
Зеркальна вера, и вражда зеркальна
и пушек черношеих жерла.



АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ

ТВОЙ СОСЕД ПО ПАЛАТЕ

Отцу

Не представляю его молодым, в галифе с защипами,
во френче глухом, перетянута портупеей...
На цыпленка бройлерного похож — ошипанной
головой, глазами тусклыми, дряблой шеей.

И каждое утро: «Вы мои челюсти не видали?..
Благодарствую»,— говорит, на сестричку смотрит растроганно.
В знак особого расположения показывает медали,
и осуждает строго порядки режима нестрогого:

вот ведь и курят, и пьют, и анекдоты травят такие,
хоть сейчас к стенке ставь. И, улыбаясь мечтательно:
«Эх, недостреляли маленько! А были ребята лихие
в системе нашей — работали замечательно!»

Ну да! — вагоны битком набитые, бараки вшивые,
закрытые зоны — на полстраны лепрозорий...
Неужели такие вот старикашки плешивые
и виноваты в нашем страхе, в нашем позоре?

Неужели уже черту подвели, все подытожили:
грехи отпустили, не отмерили по справедливости?..
И чего же я слушаю, уши развесил? Ах, что же я
не чувствую ничего: ни ненависти, ни безгливости!..

П Р И Д Е Т П И С Ь М О...

Придет письмо в конверте новогоднем...
Кто — неизвестно — жизнь тому назад
сумел послать его из преисподней
с пометкою: обратный адрес — ад;
один из тех кругов — к ядру поближе,
к алмазным граням вечной мерзлоты,
где слово вышло паром... Не услышит
его никто у гибельной черты.
О время зла! К поэтам ты мирволишь,
одаривая жуткой из смертей.
Что Данте им? Весь «Ад» его всего лишь
метафора застывших лагерей.
Там их следы теряются во мраке,
там — в запредельной, вьюжной, стылой мгле,
на ленском дне, в сучанском ли бараке,
у мерзлых рвов иль в ледяной земле.

Свидетельствам полвека. Очевидцы
подробности успели позабыть...
Мы, как слепые, трогаем страницы
руками, не умеющими бить.
К полузапретным книжкам — за примером,
за образом — в заветную тетрадь...
На чьих костях мы строим нашу веру?
На чьих паденьях учимся взлетать?
Как нам понять, в глубинах сна и страха,
зачем о них, отправленных на смерть,
полубезумный осквернитель праха
еще и память приказал стереть,
на четверть века запретив свиданье?
О, видно, и за смертью есть страданье!

«Кто может знать при слове расставанье —
Какая нам разлука предстоит?»



ЕЛЕНА ШВАРЦ

* * *

Глухонемой и взрослый сын
У матери — один.

Вот он сидит и жадно ест,
А если хлеба хочет —
Кричит,
Как дряхлый кочет.

Весь
Густо бородатый,
Как мертвецом зачатый.

И только матери он мил,
Когда услышала звонок,
Вся просияла: «Ты, сынок?» —
А он в ответ ей: «Мы, мы, мы-ы».

Мы не рабы, и он не раб.
Его прогулка за спиной
Стоит, как призрачный корабль, —
Подавленных желаний ряд,
И девочки, и мотыльки.

«Она рванулась... зря... я руку
Сжал этак вот... А после, после в речку».
Все это матери он яростно мычит,
А та, кивая, зажигает печку.



К Р А С Н А Я Ю Б К А

М. Соболевой

М е с т о д е й с т в и я:

- 1) берег залива, напротив Петергофа, ветрено;
- 2) во времянке, туманно.

Я тихо подходила к морю,
Бутыль бросала далеко.
От всплеска — чаек синий порох,
Крича, взлетал так высоко.

Горела моя юбка ало,
И ветром с тлеющих песков
Так высоко ее вздувало
И накрывало Петергоф.

И опадала, и взлетала,
В колени хлопала мои,
И медленно, как два кинжала,
В Кронштадт входили корабли.

Я шла заливом, припевала,
А ты передо мной металась,
Цветочки белые свивала
И развивала, вся как парус.

«Уймись же, юбка, что ты скачешь!»
Ладонями в тебя стучала,
А ты под ветром, ветром с суши
Вся вздрагивала и плясала.

.

Упало солнце. Во времянку
Пойду, туман стряхнувши с ног.
Лягушки, чуя дождь, со шлепом
Ко мне скакали за порог.

У поцарапанного шкафа
Тебя я, вялую, снимала —
Крючок ослаб, прожог, заплата,
Швы разошлись — как ты устала!

Тобой, мертвой, занавешу
Окно — сегодня полнолуние —
От раскаленной лунной плешу,
От наводнения, от безумья.

Тебя повешу на окне —
Пусть ночь тебя оденет ночью,
Пусть соловей тебя прожжет,
Пускай роса тебя промочит.

Не сплю. Луна скользит, мертва,
Слегка прикрытая кошмою,
Как срубленная голова
В мешке татарина кривого,
Скользит, уходит из окна,
Она мерцает под травую.

«Что ж ты Луну не довезла?»
Орда бежала бы бегом
Смотреть — как хан тебя развяжет,
К губам прижмет, вина прикажет
И отшвырнет Луну ногой.



ЭРИК ШМИТКЕ

Ф Л О Р А

Ты посмотри:
даже самая ничтожная былинка,
а тоже — трубочка,
дудочка!

А глянешь на лес осенний,
так медью и сверкает...

Что играет этот оркестр?
То ли вальсы на гулянье народном,
то ли военные марши...

Надо понять.



* * *

Из хилых полуденных теней
расцветает до самого неба
вечер,
и цепочками звезд
электрички уходят на небо.

И всю ночь кружатся в небе
электрички
с древними именами:
Овен,
Стрелец,
Водолей...

Но чудеснее всех электричка Дева.
Это такое диво —
в какую бы сторону ни ехать,
все одно
она где-то рядом.

Н Е Б О

Ах, какое небо
над землей!
Старенькое небо над землей,
простенькое небо над землей,
но чистое,
и заштопано аккуратно —

Совсем не зазорно, как прежде,
вечерком, на излете лета,
показать себя народу,
не спеша пролететься
в этом небе
над каким-нибудь Витебском...

Только вот в небе
не гоняется больше
вредный Шагал
за степенными молодоженами,
не возмущают ворон
стаи пацанов и коз.

С тех пор, как запретили Шагалу
народ распугивать,
как-то скучновато стало
в небе
по вечерам
и в выходные.



Свиток скорби

Писатели Ленинграда,
погибшие в тюрьмах, лагерях и ссылке
в годы сталинских репрессий

ААЛТО ВЯИНЕ ИВАНОВИЧ (1899—25.IV.1944).

АДАМОВИЧ О. В.

БАРШЕВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ (20.X.1888—30.III.1938).

БЕЗБОРОДОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ.

БЕЛИЦКИЙ ГЕОРГИЙ ЕРЕМЕЕВИЧ (?—1938).

БЕЛЫХ ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (20.VIII.1906—1938).

БЕРЗИН ЮЛИЙ СОЛОМОНОВИЧ (1904—11.VI.1942).

БЕСКИНА А.

БРИК БОРИС ИЛЬИЧ (11.I.1904—?).

ВАСИЛЬЕВА РАИСА РОДИОНОВНА (13.VIII.1902—1938).

ВВЕДЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (19.I.1904—1941).

ВЕЙДЕН ЛЕО.

ВЕНУС ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВИЧ (31.XII.1897—8.VI.1939).

ВЫГОДСКИЙ ДАВИД ИСААКОВИЧ (4.X.1893—1943).

ГЛЕСС (ГЛЕЗЕЛЬ) САМУИЛ МАРКОВИЧ.

ГОРБАЧЕВ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ (26.IX.1897—10.X.1942).

ГРАБАРЬ (ШПОЛЯНСКИЙ) ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ (12.IV.1901—2.XI.1941).

ГУБЕР ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ (26.IX.1896—13.IV.1941).

ГУКОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1.V.1902—2.IV.1950).

ДИТРИХ ГЕОРГИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ (1906—1943).

ДЬЯКОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (25.VII.1885—X.1938).

ЕЛЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ОКТАВИЕВИЧ (1868—1939).

ЗОРГЕНФРЕЙ ВИЛЬГЕЛЬМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (11.IX.1882—21.IX.1938).

ИОНОВ (БЕРНШТЕЙН) ИЛЬЯ ИОНОВИЧ (1.VIII.1887—1942).

ИРИНИН (ЖУРАВЛЕВ) МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ (1908—1936).

КАЛНЫНЬ ЯН АНТОНОВИЧ (1902—19.III.1944).

КАМЕГУЛОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (30.X.1900—9.X.1937).

КИКУТС ПЕТР (ПЕТЕРИС) РУДОЛЬФОВИЧ (24.VII.1907—1937).

КЛЮЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1884—1937).

КНЯЗЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (18.I.1887—10.XI.1937).

КОЛБАСЬЕВ СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ (17.III.1898—30.X.1942).

КОНСТАНТИНОВ Н. (БОГОЛЮБОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ)

(18.V.1905—14.VIII.1943).

КОРЖИЛОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ (29.VII.1907—20.XI.1938).

КУКЛИН ГЕОРГИЙ ОСИПОВИЧ (20.V.1903—9.XI.1939).

ЛИФШИЦ БЕНЕДИКТ КОНСТАНТИНОВИЧ (7.I.1887—15.V.1939).
ЛОЗИНСКИЙ ЗАЛМАН БОРИСОВИЧ.
МАЙЗЕЛЬ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ (1899—4.XI.1937).
МАНДЕЛЬШТАМ ИСАИ БОРИСОВИЧ.
МАНДЕЛЬШТАМ ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ (15.I.1891—27.XII.1938).
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ (1897—1935).
МЕДВЕДЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (4.I.1892—1938).
МОРГУЛИС АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ (2.IX.1898—1938).
МУСТАНГОВА (РАБИНОВИЧ) ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА (23.I.1905—1940).
ОДУЛОК ТЭКИ (СПИРИДОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ) (4.VI.1906—14.IV.1938).
ОЛЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ (16.XI.1895—5.V.1942).
ОЛЬШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1878—23.IX.1951).
ПИОТРОВСКИЙ АДРИАН ИВАНОВИЧ (20.XI.1898—1938).
РАДЛОВА АННА ДМИТРИЕВНА (3.II.1891—23.II.1949).
РАХМИЛОВИЧ-ЮЖИН Д.
САВОЛАЙНЕН ГЕОРГИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ (1899—1937).
СВИРИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (5.III.1900—1937).
СКОРИННО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ (30.VIII.1900—19.X.1941).
СОРОКИН ГРИГОРИЙ ЭММАНУИЛОВИЧ (11.I.1898—27.II.1954).
СТАРЧАКОВ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ (1892—20.V.1937).
СТЕНИЧ (СМЕТАНИЧ) ВАЛЕНТИН ОСИПОВИЧ (21.XI.1898—20.IX.1939).
ТВЕРЯК (СОЛОВЬЕВ) АЛЕКСЕЙ АРТЕМЬЕВИЧ (15.XII.1900—28.III.1943).
ТРЕЙН КАРЛ КАРЛОВИЧ.
ХАРМС (ЮВАЧЕВ) ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ (17.XII.1905—II.1942).
ЧИСТЯКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (1896—1938).
ШАБАНОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ (VIII.1900—VII.1941).
ШИЛИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ (14.XI.1896—27.XII.1941).
ЭЙДУК ЯН ЮРЬЕВИЧ.
ЭРЛИХ ВОЛЬФ ИОСИФОВИЧ (6.V.1902—1944).
ЯРВЕЛАЙНЕН Г. Э. (1896—?).

Нет никакой уверенности в полноте этого длинного перечня. Довоенные списки членов Союза писателей погибли в блокаду, их московские копии, по-видимому, уничтожены осенью 1941 года. Не существует списков репрессированных, сосланных, исключенных из Союза. Официальная посмертная реабилита-

ция коснулась только тех, кто имел родственников, которые после XX съезда послали запросы в соответствующие инстанции.

«История учит только тому, что она ничему не учит...» Невозможно поверить, что мы ничему не научились!

Владимир Бахтин

МИХАИЛ БЕРНОВИЧ

(1912—1967)

* * *

Посвящается Б. Корнилову

Я однажды, ребята, замер,
Не от страха, поверьте, нет,
Затолкнули в одну из камер —
Пошутили мечта и поэт.
День — допрошен, ночь — допрошен,
На висках холодеет пот,
Я не помню, где мною брошен
Легкомысленный анекдот.
Он звереет, прыщавый парень.
Должен я отвечать ему,
Почему печатал Бухарин
«Соловьиху» мою, почему?
И ответил гадюке тихо:
«Что с тобою мне толковать?
Все равно по тебе соловьяха
Не намерена тосковать!
Как примазался ты к чекистам,
Что позоришь бумаги лист?
Самым светлым и самым чистым
Был и будет всегда чекист.

Я плюю на твои наветы,
На помойную яму лжи!
Есть поэты, будут поэты!
Ты покуда живи-дрожи.
Время сгорбит тебя книзу,
Бросит камнем в гнилую мглу,
И забудут тебя, как крысу,
Что убили вчера в углу.
Вот и разница между нами,
И, бессмертная, словно медь,
Над полями, над теремами
Будет песня моя греметь.
За решеткою мир хрустален,
Соловьиные голоса,
И стоит у обрыва Сталин,
И не смотрит в мои глаза.
Кровь от пули последней брызни
На березы, на травы, на мхи!
Вот мое продолжение жизни —
Сочиненные мной стихи.

Михаил Петрович Бернович был очень хорошим, добрым, чистым и удивительно скромным человеком. Но если речь заходила о поэзии, он был строг и требователен -- не только к другим, но и к себе.

Начал печататься в 18 лет. Но когда понял, что его стихи особыми достоинствами не отличаются, все бросил и пошел на фабрику. Затем оказался в Сибири, у геологов, дошел до заместителя начальника оловорудника. Участник войны. После тяжелой контузии в 1944 году вернулся в Ленинград инвалидом. Снова, уже всерьез, принялся за стихи.

Книжка «Зеленый свет» вышла в 1960 году

(автору было 48 лет!). Вторая выйти не успела. 25 октября 1966 года Михаила Петровича приняли в члены писательского Союза, а 24 мая 1967 года его не стало.

Еще в юности Михаил Бернович подружился с Борисом Корниловым и Ольгой Берггольц. После войны участвовал в издании сочинений Корнилова. Где находится его архив, неизвестно. Печатаемое стихотворение сохранил В. К. Всеволодов — один из многих начинающих литераторов, которым всегда охотно и бескорыстно помогал Михаил Петрович.

Владимир Бахтин

ЕЛЕНА ТАГЕР

(1895—1964)

* * *

И он умирает, как всякий другой.
Часы прозвонили: «Сегодня!»
Он будет лежать простертый, нагой,
Суда ожидая господня.

Его гениальность растает как дым
Под взором иных поколений —
И страшным парадом пройдут перед ним
Друзей оклеветанных тени.

Северный Казахстан
4 марта 1953



* * *

Если б только хватило силы,
Если б в сердце огонь бурлил,
Я бы бога еще просила,
Чтобы он мне веку продлил.

Да не бабьего сладкого веку
И не старости без тревог —
А рабочему человеку,
Чтоб он выжить во мне помог,

Потому — не в моей природе
Не закончив дело бросать;
Это книга о русском народе —
Я должна ее дописать.

Колыма
Весна 1946



Велегласно блаженствуют утки в канаве,
Меднолобые тыквы воздвиглись на кров...
А пожалуй, их мог бы вкусить и Державин,
Отдохнув от Фелицыных громких пиров.

Восемнадцатый век. Он везде и повсюду:
В домовитости грузной алтайской избы,
В голубой колокольне и в этих причудах
Изобильной крутой деревянной резьбы;

В этой ровной черте оборонного вала.
(Ярославна! Твой голос и здесь прорыдал...)
Восемнадцатый век — чтобы степь пустовала,
На лесном рубеже городил города.

Деятнадцатый век торговал и молился,
Капиталец копил, но эпоха не ждет
И не шутит — и в сонную одурь вломился
Говорливый, партийный семнадцатый год.

Век двадцатый! Ты мчишься в венке пятилеток,
Не Фортуны — Коммуны крути колесо...
Вот о чем толковал Дидерот с Аруэтом!
Вот чего домогался мечтатель Руссо!

*Бийск, Алтайский край
1948*



Елена Михайловна Тагер родилась в 1895 году. Бестужевка. Прозаик, поэт, переводчик. Человек широких познаний. Начала печататься в 1915 году под псевдонимом Анна Регат. Была знакома с Блоком... 18 лет — лучшие, зрелые годы! — провела в тюрьмах, лагерях, ссылке. Но не была сломлена. Мыслила, писала глубокие стихи. А когда в 1954 году вернулась (не домой еще, въезд в Ленинград и Москву был запрещен!) и в речи одного из руководителей Союза услышала скудный перечень истинных писателей, сказала: «А где же такая огромная творческая сила, как Пильняк? Где проза Пастернака, где Булгаков, ранний Олеша? Неужели все это можно так просто смахнуть, как крошки со стола? Как выразился когда-то Пастернак: «О вопросах искусства я не могу говорить не побледнев».

Многие из нас разводят руками: не знали, не представляли, не понимали... А были люди, которые знали, представляли и понимали. Но кто их слушал, кто слышал, кто хотел слышать? И они, эти люди, сохранили, пронесли через все муки ада не только свою душу живую, но и незапятнанную совесть, высокую духовность, благородную русскую культурную традицию.

Елена Тагер скончалась в Ленинграде, в своей квартире, в полном одиночестве — не сразу и узнали об этом. А через два года — тоже посмертно! — в 1966 году вышла ее «Повесть об Афанасии Никитине». Большинство из сохранившихся ее 82 стихотворений не опубликовано до сих пор.

Владимир Бахтин

* * *

Все равно умру в Ленинграде,
И в предсмертном моем бреду
К воронихинской колоннаде
И к Исакию прибреду.

Будь музеем или собором,
Мавзолеем или мечтой —
Все равно коснеющим взором
Различу твой шлем золотой.

Ветер Балтики, ветер детства
К ложу смертному прилетит
И растраченное наследство
Блудной дочери возвратит.

И, последнему вняв желанью,
В неземное летя бытие,
Всадник Медный, коснувшись дланью,
Остановит сердце мое.

*Северный Казахстан
Весна 1952*



ДАНИИЛ АНДРЕЕВ

(1906—1959)

**СТИХОТВОРЕНИЕ
ИЗ ПОГИБШЕГО РОМАНА**

Без небесных хоров, без видений
Дни и ночи тесны, как в гробу.
Боже! Не от смерти — от падений
Защити бесправную судьбу!

Чтоб, истерзан суетой и смутой,
Без любви, без подвига, без сил,
Я стеной постыдного уюта
В час борьбы себя не оградил.

Чтоб, дымясь по выжженным оврагам
И переступая чрез тела,
Тьма войны непоправимым мраком
Мечущийся ум не залила.

Помоги напевы те, что ночью
Создавать повелеваешь Ты,
В щель, непредугаданную зодчим,
Для столетней прятать немоты.

Научи, как дивного венчанья,
Ждать бесцельной гибели своей,
Сохранив лишь медный крест молчанья —
Честь и долг поэта наших дней.

Если же пойму я, что — довольно,
Что не будет Твоего гонца —
Сохрани меня от добровольной
Пули из тяжелого свинца!

*1937
Москва*

Г И П Е Р - П Е О Н

О триумфах, иллюминациях, гекатомбах,
Об овациях всенародному палачу,
О погибших и погибающих в катакомбах
Нержавеющий и незбылемый стих ищущу.

Не подскажут мне закатившиеся эпохи
Злу всемирному соответствующий размер,
Не помогут во всеохватывающем вздохе
Ритмом выразить величайшую из химер.

Этой поступью оглушенному, что мне томный
Тенор ямба с его усадебною тоской?
Я работаю, чтоб улавливали потомки
Шаг огромное и могущественнее, чем людской.

Чтобы в грузных, нечеловеческих интервалах
Была тяжесть, как во внутренностях Земли,
Ход чудовищ, необъяснимых и небывалых,
Из-под магмы приподнимающихся вдали.

За расчерченную, исследованную сферой,
За последнюю спондеической крутизной,
Сверх-тяжелые, транс-урановые размеры
В мраке медленно поднимаются предо мной.

Опрокидывающий правила, как плутоний,
Зримый будущим поколениям, как пантеон,
Встань же, грубый, неотшлифованный, многотонный
Ступенями нагромождаемый сверх-пеон!

Не расплавятся твои сумрачные устои,
Не прольются перед кумирами, как елей!
Наши судороги под расплющивающей пятою,
Наши пытки и наши кавни запечатлей!

И свидетельство о склонившемся к нашим мукам
Темном Демоне, угашающем все огни,
Ты преемникам — нашим детям и нашим внукам,—
Как чугунная усыпальница, сохрани.

1951
Владимир

ТЮРЬМА НА ЛУБЯНКЕ

Нет,
Втиснуть нельзя этот стон, этот крик
В ямб:

Над
Лицами спящих — негаснущий лик
Ламп,

Дрожь
Сонных видений, когда круговой
Бред

Пьешь,
Пьешь, задыхаясь, как жгучий настой
Бед.

Верь:
Лязгнут запоры... Сквозь рваный поток
Снов

Дверь
Настежь — «Фамилия!» — краткий швырок
Слов,—

Сверк
Грозной реальности сквозь бредовой
Мрак,

Вверх
С шагом ведóмых совпавший сухой
Шаг,

*Д*аниил Леонидович Андреев, сын русского писателя Леонида Андреева, родился 2 ноября 1906 года. Мать его, Александра Михайловна Велигорская, первая жена Л. Н. Андреева, умерла от послеродового заболевания, и ребенок вырос в семье тетки, жены московского врача Филиппа Александровича Доброва. Эту семью Даниил Леонидович считал родной. Так как он не жил с отцом под Петербургом на Черной речке, он оказался единственным из семьи Леонида Андреева, всю жизнь прожившим в Советском Союзе.

Даниил Леонидович закончил частную гимназию в Москве и Высшие литературные курсы. Рассчитывать на публикацию своих произведений он не мог, поэтому освоил профессию художника-шрифтовика. Эта работа давала возможность скромного существования, насто-

ящие же силы принадлежали литературной работе: с юности он был поэтом, а с 1937 года работал над большим романом «Странники ночи» — о жизни и духовных поисках русской интеллигенции в условиях сталинской Москвы.

Война и, в 1943 году, мобилизация застала его за этой работой.

На фронте он, по состоянию здоровья, был рядовым нестроевым. Подносил снаряды, хоронил убитых в братских могилах, работал санитаром в полевом госпитале. В составе 196-й Стрелковой дивизии перешел по льду Ладожского озера в осажденный Ленинград.

В 1947 году Д. Л. Андреев вместе с семьей был арестован органами КГБ и после полутора лет следствия на Лубянке и в Лефортове осужден Особым совещанием («тройкой») на 25 лет тюрьмы по 58-й статье. Пробыл 10 лет во Вла-

Стиск
 Рук безоружных чужой груботой
 Рук,
 Визг
 Петель и — чинный, парадный — другой
 Круг.
 Здесь
 Пышные лестницы; каждый их марш
 Прям.
 Здесь
 Вдоль коридоров — шелка секретарш-
 Дам.
 Здесь
 Буком и тиссом украшен хитро
 Лифт...
 Здесь
 Смолк бы Щедрин, уронил бы перо
 Свифт.

Дым
 Пряно-табачный... улыбочки... стол...
 Труд...
 Дыб
 Сумрачной древности ты б не нашел
 Тут.
 Тишь...
 Нет притаившихся в холоде ям
 Крыс...
 Лишь
 Красные капли по всем ступеням
 Вниз.
 Гроб?
 Печь? Лазарет?.. Миг — и начисто стерт
 След,
 Чтоб
 Гладкий паркет заливал роковой
 Свет.

1951
 Владимир

В А С И Л И Й Б Л А Ж Е Н Н Ы Й

Во имя зодчих — Бармы и Постника

На заре защебетали ли
 По лужайкам росным птицы?
 Засмеявшись ли, причаляли
 К солнцу алых туч стада?..

Есть улыбка в этом зодчестве,
 В этой пестрой небылице,
 В этом каменном пророчестве
 О прозрачно-детском «да».

димирской тюрьме; в 1957 году был выпущен Комиссией по пересмотру дел политзаключенных, в 1958 году — реабилитирован.

В 1954 году, в тюрьме, перенес обширный инфаркт миокарда и на свободу вышел обреченным, о чем знал. Скончался в Москве 30 марта 1959 года.

Рукопись романа и все стихи, написанные до ареста, были после следствия сожжены органами КГБ, так же как письма Леонида Андреева к сыну и друзьям. Часть стихов Даниил Леонидович восстановил потом по памяти и по тетрадкам, сохранившимся у друзей. Роман не восстановлен.

В тюрьме, по мере возможности (правильнее сказать — невозможности), он писал. В 1951 году все записанное было изъято при очередном обыске и — еще раз — все уничтожено.

С 1954 года заключенные получили право иметь бумагу и писать. Тогда Д. Л. Андреевым были написаны черновики книги «Роза мира», жанр которой очень трудно определить; черновики поэтической драмы «Железная мистерия» и много стихов, составивших книгу «Русские боги», названную автором поэтическим ансамблем.

Рукописи чудом удалось спасти из тюрьмы. На свободе он прожил 23 месяца, из которых не меньше полугодом провел в больнице, остальные — скитаясь по чужим домам. Свою «жилплощадь» в виде 15-метровой комнаты в коммунальной квартире мы получили за 40 дней до его смерти.

Все это время он работал над вывезенными из тюрьмы рукописями.

Алла Андреева

То ль — игра в цветущей заводи?
То ль — веселая икона?..
От канонов жестких Запада
Созерцанье отрешит:
Этому цветку — отечество
Только в кущах небосклона,
Ибо он — само младенчество
Богоизбранной души.

Испещренный, разукрашенный,
Каждый столп — как вайи древа;
И превыше пиков башенных
Рдеют, плавают, цветут
Девять кринов, девять маковок,
Будто девять нот напева,
Будто город чудных раковин,
Великановых причуд.

И, как отблеск вечно юного,
Золотого утра мира,
Видишь крылья гамаюновы,
Чуешь трель свирели — чью?
Слышишь пень алконостово

И смеющиеся клиры
В рощах праведного острова,
У Отца светил, в раю.

А внутри, где радость начисто
Блекнет в сумраке притворов,
Где от медленных акафистов
И псалмов не отойти —
Вся печаль, вся горечь ладана,
Покаяний, схим, затворов,
Словно зодчими угадана
Тьма народного пути.

Будто чуя слухом гения
Дальний гул веков грядущих,
Гром великого падения
И поправье всех святых,
Дух постиг, что возвращение
В эти ангельские кущи —
Лишь в пустынях искупления,
В катакомбах мук. Аминь.

1950

Владимир

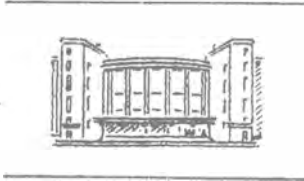




ВЛАДИМИР АДМОНИ
ВСЕВОЛОД АЗАРОВ
АНАТОЛИЙ АКВИЛЕВ
ЛЮДМИЛА БАРБАС
АЛЕКСЕЙ БЕКЛОВ
АНАТОЛИЙ БЕРГЕР
ВЛАДИМИР БЕСПАЛЬКО
ВИЛЕН БОРИСОВ
МАЙЯ БОРИСОВА
СЕМЕН БОТВИННИК
НАВЕЛ БУЛУШЕВ
ОЛЕГ БУНДУР
АСЯ ВЕКСЛЕР
СВЕТЛАНА ВИШНЕВСКАЯ
ЛАРИСА ВОЛОДИМЕРОВА
СЕРГЕЙ ВОЛЬФ
ЛЕВ ГАВРИЛОВ
НАТАЛЬЯ ГАЛКИНА
МИХАИЛ ГОЛОВЕНЧИЦ
ЮРИЙ ГОЛУБЕНСКИЙ
ГЕРМАН ГОППЕ
ЛЕОН ГРОХОВСКИЙ
НАТАЛЬЯ ГРУДИНИНА
СЕРГЕЙ ДАВИДОВ
ИВАН ДЕМЬЯНОВ
ВЛАДИМИР ДРОЗДОВ
СЕРГЕЙ ДРОЗДОВ
БАЛЕНТИНА ДРОЗДОВСКАЯ
ЭЛИДА ДУБРОВИНА
МИХАИЛ ДУДИН
СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВ
ЛЕОНИД ЗАМЯТНИН
НИНА ИВАНОВА-РОМАНОВА
ЕЛЕНА ИГНАТОВА
ИГОРЬ ИНОВ
ПОЗЬ КАРП
СЕРГЕЙ КАШИРИН
АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ
АЛЕКСАНДР КОМАРОВ
ЮРИЙ КРАСАВИН
АНАТОЛИЙ КРАСНОВ
АЛЕКСАНДР КРЕСТИНСКИЙ
ВИКТОР КРУТЕЦКИЙ
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ
СЕРГЕЙ КУЛЛЕ
АННА КУТЬЕВА
ВЛАДИМИР ЛАХНО

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЙКИН
АЛЕКСЕЙ ЛЮБЕГИН
АНДРЕЙ ЛЯДОВ
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
СЕРГЕЙ МАКАРОВ
ВИКТОР МАКСИМОВ
НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ
ИРИНА МАЛЯРОВА
ДМИТРИЙ МИНИН
ИГОРЬ МИХАЙЛОВ
ТАМАРА НИКИТИНА
ЛАРИСА НИКОЛЬСКАЯ
ГАЛИНА НОВИЦКАЯ
НАТАЛЬЯ НУТРИХИНА
ИГОРЬ ОЗИМОВ
БОРИС ОРЛОВ
ОЛЕГ ОСИПОВ
ГЛЕБ ПАГИРЕВ
АЛЕКСАНДР ПЛАХОВ
СЕРГЕЙ ПОГОРЕЛОВСКИЙ
НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА
ВАЛЕНТИН ПОНОВ
ВЛАДИМИР ПРИХОДЬКО
НИКОЛАЙ РАЧКОВ
ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР
АНДРЕЙ РОМАНОВ
МИХАИЛ РОМАИУШКО
МИХАИЛ САЗОНОВ
ИРЭНА СЕРГЕЕВА
ЮРИЙ СКОРОДУМОВ
ЕВГЕНИЙ СЛИВКИН
АНАТОЛИЙ СОРОКИН
ВОЛЬТ СУСЛОВ
НИКИТА СУСЛОВИЧ
ДМИТРИЙ ТОЛСТОБА
ИЛЬЯ ФОНЯКОВ
РИЗА ХАЛИД
ВАДИМ ХРИЛЕВ
ОЛЕГ ЦАКУНОВ
АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ
ВЛАДИМИР ШАЛЫТ
ЮРИЙ ШЕСТАКОВ
ВАДИМ ШЕФНЕР
ВИКТОР ШИРАЛИ
НОРА ЯВОРСКАЯ
АВГУСТ ЯРКОВЕЦ
МИХАИЛ ЯСНОВ





ВЛАДИМИР АДМОНИ

* * *

Анне Ахматовой

Это, верно, одно из чудес,
Что живым стало мне Ваше имя.
Что, отправившись наперерез,
Мы совпали путями своими.

И в отсеке тридцатых годов,
И над чуждыми маками юга.
И под сенью сосновых лесов,
Мы везде узнавали друг друга.

Верно, встретимся мы поутру
Даже самого главного лета.
А когда я и вправду умру,
Я и там не забуду про это.

1961



С Н Ы

Парадный ход и черный ход,
Таких сегодня нет в помине,
Зачем же этот старый свод
Один и тот же снится ныне?!

Здесь шли на смерть отец и мать.
Храню на брата похоронку.
И не пытаюсь открывать
Ту дверь, куда входил ребенком.

И хоть прошел сквозь сто дверей,
С тех пор, как я живу на свете,
Ночную память своей
Одни припоминаю эти.

Что здесь — поминки, торжество,
Свет ясный или тьма сырая,
Где не осталось ничего?
Я, спящий, так и не узнаю!

* * *

Это было недавно,
Это было давно.

Песня

Дорогую мне Одессу
Сберегу на долгий срок:
Горьковатый привкус детства,
Бушмалу и Халвичек,

Крик протяжный водовоза,
Набежавшую грозу,
Влагой пахнущие розы
У цветочницы в тазу.

Голосистую шарманку
В наступившей тишине,
«Счастье» в лапке обезьянки,
Предлагаемое мне.

Акробаты на канате,
Красно-синий детский мяч,
Стойкий маленький солдатик
На коне, летящем вскачь.

Полосатый, как тельняшка,
Полдень в голубой тиши.
Розовая промокашка,
Хаммера карандаши.

С пузырьками запах сена,
Ледяной воды стакан,
На Привозе, не на Сене,
В углях бронзовый каштан.

Попугай кричит: «Пиастры!»
Робин Гуд зовет в кино,
Грохоча протяжно, властно,
Море мне глядит в окно.

Там надежды ветер вторит,
Отгоняя прочь печаль.
Всюду солнце, всюду море,
Увлекающее вдаль.



АНАТОЛИЙ АКВИЛЕВ

(1923—1985)

* * *

А годы уходят,
а что ты
особого людям сказал?
Уже поредела пехота.
с которой шагал на вокзал.

Уже на могиле у друга
суровый карельский гранит,
как ветер Полярного круга,
мне душу, спеша, холодит.

Но, жизнь поколенья итожа,
себе мы ответить должны:
как жили прекрасно мы все же,
и братья, и сестры Страны!

Идя через волны и сушу,
горя под горячей броней,
не продали дьяволу душу,
Россией дышали одной.

И связи бессмертной и кровной
забыть не могли ни на миг —
и сам благодарный Верховный
нам в небе салюты воздвиг.

Пусть строчек торжественным трассам
до дальних времен не дойти —
мы жили, ребята, прекрасно
и наша Победа —
в пути.

* * *

Я стану тобою, родная земля,
тобою, стремительный ветер,
и песня, что вечером выйдет в поля,
потери еще не заметит.

Звездная улица

Есть у каждого поэта стихотворение, которое как бы отражает его творчество, определяет личность, формулирует тему. Не в полном объеме, разумеется. Но именно оно полюбилось и запомнилось массовому читателю. Так, у Сергея Орлова это — «Его зарыли в шар земной...». У Анатолия Аквилева — «Тяжелый след».

*Тяжелый след,
упрямый след.
Под пулеметами ползком...
Еще мне, может, двадцать лет
плеватьсь одерским песком...*

Это не самое первое стихотворение поэта, но, пожалуй, с него начался литературный путь автора — с публикации стихотворения в «Литературной газете». Кстати, посвящено оно Сергею Орлову.

Удивительно похожие это были люди. Оба фронтовики, оба танкисты, немногословны и сдержанны, у обоих в глазах словно бы «орловско-курская дуга».

Но путь в литературу был у каждого свой. Несмотря на одинаковый возраст, возраст поколения, Сергей Орлов к тому времени — уже поэт определившийся, известный, Анато-

Она все красивые ноты возьмет
от самых высоких до низких,
а после присядет,
закончив полет,
на красном, как кровь, обелиске.

И я поднимусь,
поцелую звезду,
что светит спокойно и сиро,
и тихо глазами на небе взойду
светить до скончания мира.

БАЛЛАДА О СОЛНЦЕ

Голоса приглушенные льются,
как тяжелый комариный звон:
«Может, хватит этих Революций,
над стихами поднятых знамен?»

Что встаешь ты с сердцем нараспашку,
с колоколом огненным в душе,
будто сам сражался в рукопашном
на далеком этом Сиваше?»

Краснобай с сивушной бородою,
над строкой качающий права:
с верою, надеждой и бедою
в сердце перемешаны слова.

Надо быть не помнящим святого
подлецом со зрением совы,
чтоб не видеть солнца золотого,
что твоей коснулось головы,

Звездная улица

лий Аквилев — начинающий. Не в поэзии. Начинающий — вхождение в журналы. За-стенчив был Анатолий Александрович. Иду как-то по Невскому, встречаю его неподалеку от редакции «Невы». Давай, говорит, стихи тебе почитаю. И полез в карман пиджака (ни портфелей, ни папок не любил, стихи читал всегда наизусть и на всякий случай держал их за пазухой). Стихи были хорошие, я похвалил. Анатолий кивнул в сторону «Невы». Пятый раз, говорит, прохожу мимо и не могу собраться с духом войти. Я поделился своим небога-

тым опытом: был там, говорю, в объятия не заключили, но и взащей не вытолкали.

Так или иначе, но когда Анатолий Аквилев все-таки набрался решимости, то в редакции его принял не кто другой, как Сергей Орлов. Надо ли говорить, что они быстро нашли общий язык. Вскоре у Анатолия Аквилева вышла первая книга стихов «Ровесники».

Это, так сказать, штрихи к биографии. Что же касается творчества в целом, то его в двух словах сформулировать трудно. Поэзию Анатолия Аквилева можно определить, наверное,

что тебя, голодного, встречало
теплотою на Большой земле
и в вагонах мерзло на вокзалах,
босиком прошлепав по золе.

Вот оно — прекрасно и огромно —
проплывает в огненном дыму:
злые клочья пламени и грома
днем и ночью
хлещут по нему.

Что же ты не встанешь на защиту
в откровенной классовой борьбе?
У него же
в ладанке защита,
пайка хлеба — память о тебе.



ЛЮДМИЛА БАРБАС

П О С Л Е Д А М...

В эшелоне,
набитом битком,
на перроне,
облитом ледком,
мы с последним
вокзальным звонком
рвем последние нити...
Лишены
своего очага,

но и там,
где по пояс снега,
на порог не пускают
врага,
говорят: «Уходите».
Все же снимем
за сотню рублей
угол в кухне —
намного теплей,—

Звездная улица

как публицистическую лирику или, наоборот, лирическую публицистику. Да еще плюс доля романтики.

Стихи его хорошо вписывались в праздничную полосу газеты, и потому он частенько получал такие заказы. Никогда не отказывал, писал оперативно. Со временем стихи перерабатывал, вышибая из них газетный дух, и вставлял в очередную книжку. Сотрудничество в газетах в таком жанре считал своим долгом патриотическим.

В праздники Анатолий Аквилев неизменно

привинчивал орден Красной Звезды. Думаю, что из всех орденов этот был поэту наиболее по душе. Он вообще любил звезды. Звезды на небе, звезды Кремля. И даже жил на улице Звездной.

А вот звездной болезнью не болел.

Юрий Скородумов

ловим жар
неостывших углей
на пустые желудки...
Отказался от нас
Ленинград,
и теперь уж
не скоро назад,
но и здешний
разрушен уклад
за одни только сутки.
Благо ночь
преисподней черней...

Настежь двери --
и пар из сеней.
Мама знает,
что это за ней:
нет надежд на Фемиду...
И ведут по дворам,
по задам,
и за нею,
крича: «Не отдам!»,
спотыкаясь,
бегу по следам,
чтоб не скрылась из виду...

А Б Д У Л А

Приходил Абдула,
приносил молока:
«Надо жить мал-мала,
разберутся пока».
Не любил Абдула
вспоминать про долги:
«Я вам друг мал-мала,
хоть вы мне и враги».
Не спросил никогда,
в чем он, наш криминал...
Вот какой был тогда
ИНТЕРНАЦИОНАЛ!

* * *

Не вдруг разглядела
в туманный глазок,
с трудом различила
во мраке:
берут у меня
скарлатинный мазок
в заразном и грязном
бараке.

Все валится сразу
на нашу семью:
отца стерегут
конвоиры,

двужильную,
ссылную маму мою
хозяева гонят
с квартиры.

Но, въехав в совсем
нелюдское жильё,
мы помним,
две тени худые,
о том, как безоблачно
детство мое
и годы ее
молодые...



АЛЕКСЕЙ БЕКЛОВ

* * *

В пятьдесят шестом году
 (он еще аукнется)
сердце, ужасом объятое,
 цеплялось за рукав,
умоляя: «Пощади»,—
 и кривилась улица,
и во тьме терялся след,
 черен и кровав.
В пятьдесят шестом году
 (что я понимал тогда?)
все казалось слишком медленным
 смещение светил.
И хрустели имена
 под ногой, как ягода,
потому что сразу всем
 не нашлось могил.

В пятьдесят шестом году
 (где ты, наша молодость?)
возвращались, преисподнюю
 поставив на попá,
старики, содравши бороды,
 оставив серпы-молоты,
и кричали в спины им,
 вслед — судьба слепа!
И стояли в стороне
 те, кто отпалачествовал,
улыбаясь: пошевеливайся, мол,
 гуляй, народ,
мы еще вернемся в строй —
 только в новом качестве.
Что нам пятьдесят шестой?
 Ты гляди вперед.

* * *

И ум практический, и мастерская хватка.
Нам все мерещится путеводитель-класс,
кирпичная его, крутой закваски кладка,
его всевидящий гуманитарный глаз.

Как соблазнительна иллюзия! Как тонко
вплетен в сознание прозрачный проводок!
Не подводила бы ушная перепонка,
фабричный слышался бы по утрам гудок.

Так пес прикормленный не замечает вора,
так хор не чувствует отдельных голосов,
и надо бы совсем уйти от разговора,
но будит по ночам охрипший бой часов.



АНАТОЛИЙ БЕРГЕР

* * *

Про зиму: «Вновь снегами дарит»,
Про осень: «Рыжая лиса
Метет хвостом, ушами шарит,
С того и шелестят леса».

Как небо, поле, время года,
Бурлящей речки быстрота,
Так сокровенна и чиста
Родная речь в устах народа.

* * *

Как хороши и как добры
Слова прощанья и привета!
Дороги осени пестры
В косых лучах дневного света.

«Ну, будь здоров!», «День добрый вам!»,
«А, здравствуйте!», «До новой встречи!»—
Как ласковы слова к словам,
Приветливы друг к другу речи!

Так солнце ласково с травой,
Роса с листком и с веткой птица
Так небо теплой синевой
На землю зябкую струится.

Была природа бы жива,
Не убыло б ветров дыханье,
И только б не забыть слова,
Слова привета и прощанья...

* * *

Телефон годов тридцатых.
Потрясенный абонент.
И жестоких губ усатых
Южный медленный акцент.

Пережив момент испуга,
Чуя слова грозный вес,
Слышит он: «А я за друга,
Я бы на стену полез».

Так в московской коммунальной,
Так, рассудку вопреки,

Голос тот внезапный, дальний,
Все. Короткие гудки.

Надо всей страной огромной,
Над притихшею Москвой
Этот отзвук костоломный,
Этот роковой отбой.

Что поэт с его судьбою,
Если дальний тот отбой
Надо всей звучит страной,
Надо всей ее судьбой...



* * *

Подозревают в пне колоду,
в бездарном — солнечную мысль.
Толкут усердно в ступе воду,
чтоб бури в ней не завелись.
В слоне подозревают муху,
в поэте — ересь или бред.
В удаче — связи или руку,
а в радости — источник бед.
Подозревают даже скромность —
а что, как все наоборот?!
А если скромность — это склонность
прославиться за свой же счет?
И, на мгновенье прозревая,
на фоне солнечных оград,
самих себя подозревая,
бесстрашно пятятся в закат.



РАСКЛЕЙЩИЦА АФИШ

В платок упрятав рот,
размахивая кистью,
расклейщица бредет
сквозь редкий
дождик листьев.
В мешке ее шуршат
премьеры,
страсти,
судьбы...
Прохожие спешат
к афишам, словно судьи.
Хранит достойный вид
служанка Мельпомены.
И кто ей запретит
немые ставить сцены?!
Коль верует она,
а веры нет без чувства,

не просто в имена —
в бессмертие искусства.
Смешон ей,
кто страдал
в преддверии дебюта,
с кого успех содрал
семь шкур,
семь жизней будто.
Расклейщицы рука
над славою хохочет,
кисть хлещет по щекам
заслуженных и прочих.
И Рим или Париж
пред ней не много значит.
Над шелухой афиш
не вздрогнет,
не заплачет.

* * *

На скатерти неяркий натюрморт:
кофейник, две фарфоровые чашки,
с подсохшим сыром тонкий бутерброд;
за окнами играет снег в пятнашки.
Включен приемник, музыка плывет,
и тянет лесом от еловой лапы,
и нашей ссоры прошлогодний лед
скользит и тает под лучами лампы.
Мир сузился, и можно возвратить
открытость чувств и солнечное лето.
Но страшно и на миг вообразить,
что наша жизнь — игра теней и света.



ВИЛЕН БОРИСОВ

* * *

Не говори мне удивленно
О том, что время не пришло.
Летит над полем окрыленно
Неукротимое тепло,
О нем напомним нам пшеница
И светло-синий небосклон,
О нем
Дотошная певичка
Игриво шепчет в микрофон.
Когда ж
Ощиплет осень ветви,
Мороз наступит на листок,
Тепло изгнав,
Засвищет ветер
В пустой скворечник,
Как в свисток.

* * *

Слишком много еще подлецов,
Карьеристов,
Рвачей,
Проходимцев.
Если дать им не сможем в лицо,
Мы для счастья
Не пригодимся!
Пусть я слышу
Про радостный край,
Где нет места подобным мыслишкам.
Лишь останься один негодяй —
Все равно это много.
И слишком.



МАИЯ БОРИСОВА

В ДОМЕ С ОКНАМИ НА НЕВУ

I

Все не верю я, что живу
в доме
 с окнами на Неву,
наяву живу, не во сне...
Что реален тот шпиль в окне,
медь курантов,
 закатов мед...
А иной раз и страх проймет:
в доме
 с окнами на Неву
по достоинству ли живу?

II

На Марсовом поле сирень зацветает,
как правило,
 сразу и вдруг.
И запах, не тая, сюда долетает,
отчетлив и нежен, как звук.
О чем бы ни думал и что бы ни делал,
твердишь, как стихи, наизусть:

окутал в цветы мускулистое тело
сиреневый дерево-куст...
Так вот как
 влекло моряков против воли
засывное пенье сирен!
Работать.
 Куда там! На Марсовом поле
вовсю зацветает сирень...

III

Навязчивая мысль, нелепая морока:
вокруг деревьев нет,
 откуда же взялись
промытые дождем
 под сливом водостока
кленовых три листа и ясеневый лист?
Неблизко Летний сад,
 Михайловский далеко,
а те, что за рекой, давно далеки...
Откуда ж на камнях
 под сливом водостока
осенней кисти вдруг означены мазки?
Да, не прожить нам тут
 без чуда, без восторга,
в какой бы мы хандре и лени ни клялись.
Идешь себе, и вдруг —
 под сливом водостока
кленовых три листа
 и ясеневый лист!

IV

Ворона каталась на льдине
нарядной Невы посредине.
Вот так:
 величаво, как пава,
не в спешке, но и не устало,
она по земле не ступала,
она в небесах не летала.
А после и праздно, и плавно
ворона летела направо,
чтоб снова продолжить движенье
на вновь подвернувшейся льдине,
при солнечном свете и штиле,
и вновь пересечь отраженье
всемирно известного шпилья
нарядной Невы
 посредине.



V

И видеть — блаженство какое! —
сверкающий шпиль над рекой...
Блаженство.

Но' что до покоя,
то нет: не покой, не покой.

Закатов сиянье и жженье,
глаголы курантов — в окно.
Все это — душе утешенье?
О нет, не оно, не оно...

К какой ни прибегни уловке,
ни в солнечный день, ни в дожди
поглаживанья по головке
от этой картинки не жди.

С пейзажем таким законным
почувствовать в пору судьбу
струной — ну как лопнет со стоном?
Винтом — ну как сдернет резьбу?..

VI

Парапет снежком занесен.
Реку медленно клонит в сон...
И ледок-то еще — слюда,
проползают порой суда,
но поленивается

Нева
и течет спустя рукава.



СЕМЕН БОТВИННИК

ВЕСНА НА ПОБЕРЕЖЬЕ

Пять сонетов

I

Уже пески прибрежные чисты,
но снег еще лежит на косогоре...
Скользят припая хрупкие пласты
в угрюмое графитовое море.

Над ним небес белены холсты
в далеком птичьем точечном узоре
натянуты на стынущем просторе
до горизонта тонущей черты...

**И тишина недвижная вокруг,
где даже чайке крикнуть недосуг,
и ветка не скрипит в соседнем сквере,
и замерли — на миг или навек? —
и небо, и вода, и человек
в чуть дымчатой стеклянной полусфере.**

2

**Достоинству учись у лебедей —
у белых птиц, плывущих горделиво
сквозь сетку снегопадов и дождей
по темной глади Рижского залива...**

**Подобие исчезнувших ладей,
из давних дней вернувшееся диво,
скользят они легко, несуетливо
и хлеб берут с ладони у людей.**

**Когда с воды, шумя, взлетает стая,
серебряными крыльями блистая,
и небосвод над ней необозрим, —
дыханье затаив, следишь за нею:
несутся птицы, вытянуты шеи —
как стрелы с опереньем боевым.**

3

**Земля и море в ровной белизне,
за соснами кривыми дали хмуры...
В тиши, с душой своей наедине,
зима готовит новые гравюры.**

**Висит ворона. Ветви в полусне
наклонены — все точно, все с натуры,
и проводов тугие лигатуры
уходят вдаль по снежной целине.**

**Но свет весны уже нисходит, чист,
он старый затушевывает лист,
ворона исчезает в черной туче,
и шпиль, сверкая, возникает вдруг,
светлеет горизонта полукруг,
все — вновь и, значит, сердцу не наскучит.**



* * *

Крестный ход?..

Не похоже?.. И кстати ли
День Победы для этих затей?

...Как с иконами, сироты-матери —
с фотографиями сыновей.

С фотографиями, как с иконами
материнской веры и верности.

С сыновьями,
уже незнакомыми.

С сыновьями,
пропавшими без вести.

Сорок лет не приемлют безвестия.

Ожидают второго пришествия.

Б Е З Н А З В А Н И Я

Застрелился полковник
из отступившей дивизии.

Взял и шлепнулся.

Сам лишил себя жизни.

А полки,

цепляясь

даже где невозможно,
зацепились!

И, выстояв,
нанесли — как положено.

И рвутся вперед,
в русской силе уверенные.

(Пусть у фрицев теперь
шлепаются слаонервные.)

А полковник?

Полковника

закопали без холмика.

И какой ему холмик?!

(Да и был ли полковник?)

Не запомнил фамилии,
имени-отчества,

и, чтоб как-то назвать,
называю по званию.

А имени-отчества
помнить не хочется.

И даже стиху
не придумал названия.

О Л Е Г Б У Н Д У Р

С Ч А С Т Л И В Ы Й И Л И Н Е С Ч А С Т Н Ы Й

Говорили папа с мамой:

«Ты, сынок, счастливый самый,

У тебя есть папа с мамой,

Баба с дедом,

Даже кот

Целый год у нас живет».

А сегодня за обедом
Мне сказали баба с дедом:
«Ты, внучок, несчастный сын,
Ты в семье всего один...»

В ГОРОДЕ И В ДЕРЕВНЕ

Машина в квартире ползет по коври,
Машина заштопает в брюках дыру,
Машина за час постирает белье,
Машина проветрит, как надо, жилье...
И мама от всяких машин без ума —
С их помощью все успевает,
А бабушка делает это сама
И песню еще напевает!

СКАЗОЧКА

Мама папу повстречала —
Вот и сказочки начало.

Родила для папы сына —
Это будет середина.

Нет счастливее отца!
Нет у сказочки конца!



АСЯ ВЕКСЛЕР

АВТОРСКОЕ ЧТЕНИЕ

В первый раз и в последний
на горе
встреча выпала: лишь за чертой
в час ее отпеванья в соборе
помню сомкнутым профиль литой.
Отстраненно-бесстрастное чтенье
донесла звукозапись поздней.
В чистом виде — самоотречение:
чем ей горше, тем голос ровней.

И читала с улыбкой другая,
отрываясь от бед на лету,
мысль о смерти в сторонку сдвигая,
избегая смотреть в черноту.
Спутник слова ее, неизменно
поздний свет проступал на лице.
Был, как море, ей мрак по колено
до трагической точки в конце.

В чтенье той, чей портретно-печальный
лик возвышен над выгибом плеч,
чья гортань — инструмент музыкальный,
насыщающий музыкой речь,
ворожат вроде сути глубинной
даль времен и воздушная даль,
что друг с другом звенят,

как старинный
задымленно-прозрачный хрусталь.

И уже на слуху, наготове
чтенье этой — горячность, размах.
Так читают южане по крови,
что взросли при метельных снегах

над гранитной расщелиной Мойки
под нависшим хребтом облаков,
и поистине морозостойки,
как растения здешних садов.

Длится чередование властных
интонаций в немолчной тиши.
Но сильней искушений прекрасных
ты, единственное для души,
позволяющее, словно голо
все кругом, не считая волшбы,
выводить своим голосом соло
лишь судьбе подотчетной судьбы.

* * *

А если о неизлечимо больной
безвыходной теме — как числить виной
сбсны то, что в тесном подлеске еловом
она уродилась не елью — сосной?

Виновники — ветер, мгновение, рок,
а главное, случай, сберегший росток,
но ели, раскачиваясь в непогоду,
твердят не об этом, и чужд им упрек.

До розни ль, когда из небесных прорех
льет поровну, поровну сыплет на всех,

а молнии слепы и не выбирают,
сосну или ель поразить без помех.

На великодушии — в противовес
предвзятости — зиждется смешанный лес.
Войдешь — за тобой разномастные тени
он выстроит, нечисти наперерез.

То хвойные иглы, то лист вырезной.
Не так ли у нас в толчее городской,
в соседстве мелькнув, оттеняют друг друга
белесая челка и чуб смоляной?..

* * *

Где изнутри фанерою обит
чердак — он принимает нас на лето,—
стекляшка, пустячок под малахит,
что вопиешь о роскоши нелепо?

Уж ни на вещи взгляд, ни на житье
не изменить. Зато без оговорки
прекрасно здесь сокровище мое —
трилистник мой,

вид из окна в три створки.

Толпа деревьев, яблоневый сад,
дорога между ними да ограда.
Но будто солнце льют и дождь струят
три неба, и соседствуют три сада.

Ах, створки! Три отдельных череды,
три символа живых десятилетий:
цветенье — в первой, во второй — плоды
и увяданье медленное — в третьей.

СТАРУХА

Михаилу Бычкову

Так молод художник, что вроде бы сдуру
на юность не падок и долгой судьбе
отдал предпочтение, выбрав натуру —
старуху — желанной моделью себе.

Но, может, на то и художник,
чтоб в страхе
не жмуриться, не отводить головы
на щебет и перышки утренней птахи
от мудрой и дряхлой вечерней совы.

Утрачены силы, улыбки и слезы,
и с ветром пронзают ее существо
сыпучие, словно песчинки, вопросы:
зачем? почему? для кого? для чего?

А штрих карандашный
что след серебристый,
как снег, уж недалний, бумага бела.
И так притягателен сумрак безлистый,
что ждешь, будто светом разбавится мгла.



СВЕТЛАНА ВИШНЕВСКАЯ

* * *

Взять смычок и на струнах зари поиграть,
Незатейливо — вкось — попиливать.
Возмущенных соседей взопревшая рать
Набежит, стерженя от криков.

А когда поохрипнут горластые рты,
Объяснить покаянно-устало:
«Не от шума погибнем — от немоты,
В наших клеточках музыки мало...»

Пообвыкли, смирились, уселись в кружок,
Устремились к торжественной цели.
И меня не подвел самодельный смычок,
Заповедные струны запели.

И слились голоса, и восторг зазвучал,
Как орган,— без нужды в дирижере.
И светились сердца от начала начал
На земном и вселенском просторе.

* * *

Полночный свет от фонаря —
Его терзает гнутый ливень.
Все меньше в мире сентября,
Все больше дыр в шуршащей гриве.

Пышноволосые шумят.
Но продувная непогода
Ускорит гибельный распад
Былых блаженств
Под сферой свода.



ЛАРИСА ВОЛОДИМЕРОВА

* * *

Поднимались по тревоге соловьи
и обмакивали ноги в Соловки.
Там овчарки не растащат ничего,
где стреляют в бронзовеющих собак
борзовеющие в выслуге юнцы.
Соловьи-то не поют — еще птенцы.

* * *

Отсель недалеко,
но в тридевятом царстве
о детстве говорят,
а мыслят — о бунтарстве.
Что после детства есть?
Ни бога, ни порога,
за ними — дом, а здесь —
проезжая дорога.

* * *

Москва, ты царь зверей,
то на постой пускаешь
и грудь свою даешь —
пустой сосок самца,

то в клетке золотой
мой купленный товарищ
катается, как еж,
без тела и лица.

Не спровоцируй ночь
в безвременье и фальши,
с периферий моих
твой рыбий мех — насквозь.

Москва моя, глотай
мой выкуп, чтобы дальше
латать нас по кольцу —
мы не встречались врозь.



СЕРГЕЙ ВОЛЬФ

* * *

Оловянные желоба,
Всхлипы, вскрикивания, ворожба,
Всполох, выверт реки ночной
И прогнивший песок речной.
Два окошка, как зеркала,
Перекрестны во тьме села,
Друг на друга глядят и вбок,
И один на другого — бог,
Что лампадкою за стеклом
Слабо светится над углом,
И в калитку, где луч дрожал,
Кто-то, выбежав, вновь вбежал.

В ржавом и жестяном кусте
Отдает оброк красоте —
Волос русый и в спазмах весь
Хилый фавн, рожденный здесь.
Он промок от девичьих слез,
Вольно колет в паху овес,
И кобыла в хлеву глухом
Дремлет, свесившись над петухом.
Десять кур, обозначив ряд,
Гребешками во тьме горят,
И, звезды замедляя ход,
Накренился небесный свод.

* * *

Мы баснями кормили соловья,
О, как он жрал — некормленная птичка,
Худой, облезлый, тоненький, как спичка,
Ни червячка ему и ни ручья.

Его кормили прямо изо рта,
Божок наш упивался, наедался,
На кой ему, скажите, голос дался?
И как ему пристала немота!

Улегся, сытый, прямо на тахту,
Спихнул подушки, захрапел, зачмокал
И то вздыхал, то вскрикивал, то охал,
Сменяя бормотаньем немоту.

На цыпочках из комнаты уйдя,
Мы еле слышно затворили двери,
И благодарно нам кивали звери:
Пускай подремлет малое дитя.

* * *

И дева молодая, как арбуз,
Изобразилась мне во сне бесполом,
Амур с размаху дал мне образ голым,
Лишь ниточка на шее спелых бус.
Во сне она являла скорость сна,
Неловко лишь бедром задев портьеру,
И, подражая дерзкому примеру,
В портьеру ветром дунула весна.
Совсем не восемь с плюсом или семь
Мой градусник отметил утром ранним,

Я долго вел борьбу с моим дыханьем
И, рассмеявшись, выдохся совсем.
...Кого напомнил мне ее обман?
Не виденную ранее? Иль все же,
Как капелька на капельку похожа,
Она была — дитячий мой роман
В четыре года? Елка во дворце.
Я весь в слезах. И зрелая матрона,
Задев меня бедром, ушла из трона
С пренебреженьем на святом лице.



ЛЕВ ГАВРИЛОВ

* * *

Сатирики, как мамонты когда-то,
В один из дней сойдутся в тесный круг,
Посмотрят друг на друга виновато,
Улягутся на землю и помрут.
В тридцатом веке их расковыряют
И, видимо, руками разведут...
Сатирики построчно вымирают
И в лирики по случаю идут.
А мальчики, талантливые вроде,
Барахтаются в вареве пародий.

Я думал, вечно буду молодым,
Зубастым, сероглазым и красивым,
Но время улетело словно дым,
Прохладный, как течение Оясио.
Я стал послушней, тише и добрей.
Все правильно, как нужно, понимаю
И скучных дружб тяжелых якорей,
Как некогда, рывком не поднимаю.
Врагов целую чуть ли не взасос,
Веду себя, ей-богу, как Христос.

Я стал другим. Во мне другие песни.
Могу воспеть любого дурака:
«Живи, родной, от глупости не тресни,
Прославь мою планету на века.
Настырен будь. Настырен и активен,
Не верь упрямо фактам и словам
И, так как здравый смысл тебе противен,
Ходи, родной, по умным головам!
Ходи, поскольку умные в ответе
За то, что глупость здравствует на свете.

Почаще бей лобастых по мозгам,
Поярче проявляй свое искусство,
Тебя потом узнают по мазкам,
Ты только ляпай, ляпай, ляпай густо!
Устрой такой крошечный кавардак,
Чтоб взвыли «благодарные» потомки:
«О господи! Вот это был дурак!
Какие беспросветные потемки!»
И кто-нибудь из них наверняка
С восторгом изваяет дурака.

Представь себе, что ты на постаменте.
Внизу земля. А сверху облака.
И пальцами показывают дети
Мамашам на тебя издалека.
А ты стоишь, как на пожарной вышке,
Во всей своей дурацкой красоте
И важно держишь голову под мышкой,
Чтоб не кружилась там, на высоте.
Вот так и стой, ветрам и славе внемля,
Но бога ради, не слезай на землю!

1972

* * *

Ты, словно бы ошпаренный, орешь:
«Эй, умники! Историю не трожь!»
И зря шумишь.
История сама
Тихонечко доходит до ума,
Который вышибали из нее
В отчаянное времечко твое.

* * *

Если вдруг бы в короли
Чудака произвели,
Он бы всем устроил праздник
И восстание сотворил.
Сжег бы трон и к смертной казни
Сам себя приговорил,
Потому что чудаки
От всевластья далеки.
Если вдруг бы шар земной
Понял, кто всему виной,
Он бы с нами не возился,
Он бы чуть притормозился
И с поверхности земной
Нас отправил в мир иной.

Если вдруг бы главный черт
Перешел на хозрасчет,
Жизнь бы адская поблекла,
Так как грешная душа
Попадает в это пекло,
Как известно, без гроша.
Потому-то главный черт
И не вводит хозрасчет.

Если вдруг бы корифей
Из могилы встал своей
И сказал бы:
«Перестройка —
Это происки врагов!
Эй, Лаврентий,
Всех построй-ка
И стреляй с пяти шагов!» —
Что бы стало?!
Те, кто стойки,
Дрались бы за перестройку,
А лихие крикуны
Наложили бы в штаны.

Если вдруг бы все вокруг
Перешли на хлеб и лук
И не ели бы ни грамма
Мяса, фруктов и сладостей,
С продовольственной программой
Все бы вышло у властей
При условии, что вдруг
Не исчезнут хлеб и лук.

НАТАЛЬЯ ГАЛКИНА

* * *

Как тебя я обожала,
Арестантская пижама!
Эпохальной прочих мод
Ты была в тот мирный год.
Выбегали на перроны
За черешней и вином
Полосатые персоны
Из двухспальных с гальюном.
Выходили и гуляли
На растерянном вокзале
Из плацкартных, из купейных,
Из гуляющих, из семейных,—
Полосатые вполне,
Но без цифры на спине.

Достояние народа —
Эта лагерная мода,
Пережившая войну,
Одичавшая в плену,
Потерявшая ермолку,
Отрастившая виски
И наклеившая челку
Перед зеркалом с тоски.
В чреве синего флакона
Прячется одеколон.
Взят вокзал шестиколонный
Полосатыми в полон:
«Север», пиво, кипяток,—
Каждому свое, браток.

МОЛЬБА

Вряд ли беседует с жомом жмых,
Не взывает глина к пути.
Ты только верни мне мертвых моих
И позволь им в двери войти.

Преобразиться мы не вольны,
Наша мольба — тщета.
Но только мертвых моих верни,
Распахни, расщедрясь, врата.

Знать запрети и ждать воспрети,
Научи лишь себя корить.
Ненадолго мне мертвых моих возврати,
Позволь нам договорить!

Я уже не молю о завтрашнем дне,
О пощаде тем, кто раним.
Но только дай увидиться мне
И бедным мертвым моим.

Глиняный мир, тростниковый рай,
Железобетонный гул..
Ты только раз хоть во сне мне дай
Увидеть тех, кто уснул.

Отринь, оглуши громами молчбы
И прогони в толчки.
Но не отнимай у меня мольбы,
И памяти и тоски.



РОСЬ

Из каких времен, из каких земель,
Человек, тебя занесло
На излучины — то порог, то мель,
То поломанное весло?..

Погляди, чужак, — это речка Рось,
Это наша жизнь, берег вкось,
Впереди — авось, позади — небось,
И вода, как стрела, насквозь.

А я здешняя, я из этих мест, —
Топь, да гать, да пажить, да хмарь;
А уж что несу — туесок ли, крест,
Не твоя печаль, господарь.

Тут и ночь бела, что поделать с ней,
Сутки вламывай, сбившись с ног;
А уж черный день — так смолы черней,
Как глаза твои, ангелок.

Это речка Рось, утром пара клуб,
Ночь — табун скакунов и кляч,
То ли рабий крик, то ли рыбий хлюп,
То ли рыжей русалки плач.

А роса чиста — так не чище слез,
А горчит трава — так слегка,
А уж солнышко — колесо колес,
Так и катится сквозь века.

Здесь не снятся сны, а уже если сон —
То сумой грозит, то тюрьмой.
Это речка Рось, золоченый склон,
Как рука твоя, сударь мой.

Ты из черных дыр, из миров иных,
Из иных времен чей-то гость;
А я здешняя — из прорех земных,
Где течет в ничто речка Рось.



МИХАИЛ ГОЛОВЕНЧИЦ

А И С Т И Х А

Аистиха застыла на крыше,
Рядом с ней аистята ее,
Шум немолкнувший в воздухе слышен,
И не радостным стало жилье.

Дым не вьется над красной трубою,
И расти здесь птенцам не судьба.
Нет людей. Никого. Не жилоу
Стала эта пустая изба.

Разве не было в доме достатка,
Не спешили к нему стар и мал,
Разве ночью апрельскою сладко
В колыбели ребенок не спал?

И тревожно, недремлющим оком
Аистиха смотрела вперед,
А над нею к четвертому блоку
В небе мая спешил вертолет...



ЮРИЙ ГОЛУБЕНСКИЙ

(1928—1987)

С Ы Н

Растает... И в детские голоса
Свой щебет вплетут воробьи.
...У мальчика будут мои глаза,
А губы будут твои.
Он с нами пойдет по разным краям,
В пути собирая мечты.
Он будет дороги любить, как я,
И книги любить, как ты.
Он вырастет. Станет в футбол гонять,
Порывист и угловат.
Он будет твоей улыбкой сменять
Мой нахмуренный взгляд.
Когда-нибудь, после суровой зимы,
Он сам зашагает вперед.
Он многое сделает так, как мы,
А многое — наоборот.
В нем будет закалка твоя и моя,
Твои и мои черты.
И все же
 он будет лучше, чем я,
И даже лучше, чем ты.

* * *

Зачем грустить, бродить вдоль берегов,
Не спать всю ночь, сидеть в дыму табачном?
На то она и первая любовь,
Чтоб быть ей не особенно удачной.

Та девушка теперь всегда с тобой.
Забуть ее сумеешь ты едва ли.
На то она и первая любовь,
Чтоб мы ее всю жизнь не забывали.

Не сетуй, не жалея, влюбляйся вновь,
Влюбляйся так, чтоб ни конца ни края...
На то она и первая любовь,
Чтоб настоящей сделалась вторая!

* * *

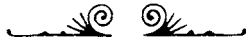
Морозный ветер снежной пудрой
Мальчишке обожжет лицо,
Чуть выскочит он ранним утром
На занесенное крыльцо.

Он из сеней притащит лыжи,
Затянет ремешком пиджак
И побежит вдоль сосен рыжих
К друзьям на Ключевой овраг.

Слегка устав, к оврагу выйдет,
Вдохнет холодную струю,
И на обрыве вдруг увидит
Он одноклассницу свою.

И он ее окликнет: «Нина!..»
И подбежит к ней — и тогда
В том месте ринется с трамплина,
Где не решался никогда.

Публикация Галины Исаенковой



«На то она и первая любовь...»

«В шесть часов день за днем слышен возглас „Подъем!“» — эту песню студентов-строителей знали в 50-х годах на всех факультетах Ленинградского университета. Слова ее написал Юрий Голубенский, учившийся тогда на юрфаке.

Как и другие студенческие поэты той поры, он почти не печатался. И не особенно стремился к этому. Тогда вообще о публикациях думали мало, на тех, кто начинал суетиться в этом направлении, бегать по редакциям, поглядывали с неодобрением. Лишь после окончания университета Юрий Голубенский напечатал несколько своих стихотворений

в газетах. Одно из них со страниц «Комсомольской правды» переключало в сборник лучших стихов года — издавались такие книги в 1954—1957 годах.

Потом Юрий Голубенский долгие годы работал в газете, на телевидении, стихов не печатал и, по-видимому, не писал. В 1987 году он безвременно ушел из жизни.

Думается, настала пора опубликовать его юношеские стихи. Ясные и прозрачные, они несут на себе неповторимый отпечаток Времени.

Илья Фоянков

ГЕРМАН ГОППЕ

* * *

Не зная утруски, усушки,
Окольных путей на базар,
На складах лежали игрушки —
Никчемный в блокаде товар.

Глазами помощников глянув
На сказочный этот мирок,
Андрей Александрович Жданов
Не вспомнить о детях не мог.

И вот довоенное эхо
Погружено в «виллис» штабной.
Он сам в детприемник поехал,
Упершись в игрушки спиной.

Но дети не поняли дядю
И не оценили порыв,
По-старчески сумрачно глядя
На щедрые эти дары.

Почувствовав холод неожиданный,
Шинель запахнул, торопясь,
Андрей Александрович Жданов,
Верховная в городе власть.

Решил: неудачное дело.
Да только был прав не вполне,
Поскольку буржуйка теплела
И плавилась куклы в огне.

* * *

Нелепей не придумать поворот,
А главное — кощунственно признаться,
Но избавленьем сорок первый год
Вступил в мои неполные шестнадцать.

А перед этим шел предсудный срок,
Ведя к неумолимому исходу.
Остаться неопознанным не мог
Не сын отца, а сын врага народа.

Как удлинялся к школьной двери путь,
Как день за днем вина моя полнела.
И нужен был слушок какой-нибудь,
Чтоб окрылить общественность на дело.

Чтоб лучший друг смотрел почти в глаза
И вопрошал почти что откровенно:
«Ты почему об этом не сказал?
Такое умолчание — измена».

Чтоб девочка, не знавшая о том,
Что в снах моих она совсем иная,
Стыдила класс еще одним врагом,
Меня до отреченья поднимая...

И тут — война. И долгий страх утих,
Ему вменялись новые заботы...
Так от суда товарищей моих
Спасла меня родимая пехота.

* * *

Да, верой жили.

Да еще какой!
Ее убить пытались, не убили.
Она травой взрывалась на могиле,
Но возвращалась в поредевший строй.

Да, верой жили.
И она слепой,
Как говорят, была.
Не замечали.
Не замечали, черт возьми, в начале,
А за началом начинался бой.

Да, верой жили.
И не нам с тобой,
Носившим беспросветные погоны,
Теперь причины зная поименно,
Мудрее быть, чем были в жизни той.

Мы все равно виновны.
Но виной
Не гнули нас солдатские котомки.
За вашу зоркость,
мудрые потомки,
Мы заплатили полную ценой.



ЛЕОН ГРОХОВСКИЙ

* * *

И доски деревянные я на ноги надену и пойду...
меж ломких кустарников, что тянут кверху руки,
туда,
куда и дым течет курчавый (как шерсть овечья),
где высоко подвешен и висит,
раскачиваясь, золотистый плод вселенной.

Мне все равно куда идти — везде я побывал.
Не зная цели, я побегу, и собственная тень
моя отстанет,
на снегу искристом, поджавши лапы, сядет, как собака,
и будет ждать меня, пока вернусь
к своим баранам — к мыслям бессловесным,
что тшчатся все объять и объяснить:
Зачем живем?
И что есть красота?
И отчего, на плечи взгромоздив, как ношу, жизнь —
сгибаемся под нею?..

* * *

И, разматывая клубок, ухажу все дальше и дальше,
и скрываюсь за горизонтом — мальчик с длинной челкой,
налезавшей на глаза,
из-под которой мир все так же прельщает меня:
скрежещущий изуродованным своим железом,
нагородивший кучи своих рукотворных холмов
из проржавевших детских колясок, эмалированных тазов,
банок консервных,
колючей проволоки, опутавшей земной шар
от третьего Курильского пролива до Гибралтара...

Между Харибдой и Сциллой
проскользнет ли утлое суденышко нового Ноя,
покачивающееся на спинах белопенных валов,
проваливающихся до самого шельфа, расколотого
жесткими ударами атомной цивилизации...

И кто уцелеет?!!



НАТАЛИЯ ГРУДИНИНА

-

* * *

Еще в беду меня не бросила
Ничья холодная рука,
А уж из красной рамы осени
Ко мне шагнули облака.
Они всю комнату завьюжили,
Предупреждая и грозя,
Что скоро старость безоружная
Ко мне навяжется в друзья.
И скажет: «Стань моей голубою,
Не простужай моих костей,
Не приноси из мира грубого
Неутешительных вестей,
Уже лицо твое муарово
И привкус инея в стихах...
Давай займемся мемуарами
Об извинительных грехах —
Про то, как где-нибудь обидели
Кого-то по ничьей вине,
Про все, что видели — не видели,
Безгласно стоя в стороне.

Еще припомним умилительно
Заслуги бóльшие в сто крат:
Растили гласно и рачительно
Не просто дерево, а сад.
Короче, жизнь недаром прожита
И будет в срок награждена».

Скажи мне, старость, кем ты прошена
И кем к столу приглашена?
Еще не столь вегетарьянственно
Здесь всё на вкус ленивый твой,
Еще бушует ветер странствия
Над сумасбродной головой.
Еще худая мебель выстоит —
Чем старомодней, тем прямей.
Здесь все кричит — от книг залистанных
До грешной памяти моей.
Не смей вязаться мне в союзники,
Имей, горбатая, в виду:

Еще пока деревья — узники
В моем ухоженном саду,
Еще бредут неотомщенные
Седые призраки в стихах,
Еще не знаю — где прощенные,
А где зудящие грехи.
Я буду жить, пока не вызнаю,

Кто завладеет вслед за мной
Моей мучительной отчиною
С ее раскаянной виной.
И только в день и час Доверия,
С былым и будущим в ладу,
Переломлюсь отжившим деревом
В неогороженном саду.

НА Д РЕ КО Ю В Е Л И КО Ю

Кружат птицы непевчие
Над рекою Великою.
Купол церкви в закате,
Как в багряном венце.
Сумасшедшая девочка
Ходит улицей тихою,
С перманентом нечесаным,
С красотинкой в лице.

А глаза-то у девочки —
Не глаза, а молеельни,
Потому что в Германии
Был родитель в плену,
А работа у девочки —
Не работа — безделье,
Потому что родителя
Ставят люди в вину.

Одержимы здесь улицы
Прошлой жизнью двуликою,
Им — крестами железными
На погостах кресты.
Недоверчивы жители
Над рекою Великою.
Им — как тени предателей
Вечерами кусты.

Сколько здесь еще тайного
Беспощадного страха
Перед каждой щербатиной
Отгремевшей войны!..
Эта хрупкая девочка,
Сумасшедшая птаха, —
От меня она прячется
За уступом стены.

Я к себе привожу ее
Снять с рассудка вериги,
А она ходит крадучись
По квартире по всей
И глядит, помертвевшая,
На немецкие книги,
На открытые письма
Зарубежных друзей.

Ну не надо, не надо же —
Я совсем не начальница
И не ведьма, что носится
По ночам на метле,
Не «шпионка проклятая»,
А солдатка-печальница
Обо всех обещанных
На российской земле.

Успокойся, невинная,
Успокойся, бредовая,
Никакие гестаповцы
Не следят за тобой.
Пусть понравятся милому
Эти губы медовые,
Эти белые рученьки,
Этот взгляд голубой.

Но глаза твои — мутные,
И краса твоя — дикая,
И покоя не знать тебе,
Кроме вечного сна...
Ходят призраки прошлого
Над рекою Великою.
Тишиной не кончается
Никакая война.

Прости ты меня, супостат бородатый,
Поборник штанов из вельвета,
Что хлебом и солью всего и богата,
Что в латаный ватник одета.
Все спорю с твоею надменностью углой,
Все хвастаю каской трофейной,
Но пусто обоим и праздно, как будто
Идем полосую ничейной.
Какой там безветренный лес за кустами?
Затишье и лжет, и тревожит...
Пророк ли глаголет моими устами,
Слепец ли клянет бездорожье?
И кто я такая, чтоб тропкою муки
Водить несмысленное счастье?
Цвета огневые, фанфарные звуки,
Быть может, как я, переходящи.

Все тщусь приманить то салютом победы,
То подвигом рыцарских странствий
Я, ржавый осколок боев и разведок,
Я, шпала в тайге туруханской.
Прости, что живу виноватой, вчерашней,
Проклятой в десятых коленах,
Запомни лишь голос мой, сломанный кашлем,
Лишь руки в заштопанных венах.
Когда же назначит нам время разлуку,
Приди к неусыпному камню:
Здесь вся моя правда, без цвета и звука,
Лежит под крестом православным.
А в дом мой заглянешь, грозой приневолен,
Раскайнем сердце не мучай.
Оставлен здесь хлеб со щепоткою соли
И латаный ватник на случай...



СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ

ПОЕДУ НА ВЯТКУ

Расшиты снега, как рушник по краям,—
яранское солнце узор вышивает.
Опять я тоскую по вятским местам,
где в каждый приезд вся душа оживает...

От Ладogi еле катил эшелон,
мы к Вятке стремились под бомбы и выюги.
Как вдруг санитары явились в вагон:
«Снимаем больных!..»
И вдоль мерзлой Ветлуги
в заразный барак под беспомощный стон,
под вздохи прохожих, застывших в испуге,

на дровнях вповал по ядреным снегам
везли восьмерых,
но один только выжил.
Летела поземка по слабым следам,
когда — сиротой — из барака я вышел.
Мороз, как щенка, прижимает к домам,
куда я стучался, но кто бы услышал!

А маму мою и еще шестерых
какой-то старик, это знающий дело,
к погосту повез неприкрытыми их.

Застрянет в сугробе —
и голое тело
подсунет под полоз...
Теперь я притих.
А то по ночам криком память болела!

Узорчатый снег, будто вятский рушник,
мне видеть дано через тридцать и сорок.
И некого стало спросить напрямик:
«За что же нас так: голод, бомбы и порох,
а после всего — равнодушный старик,
ветлужский Харон на холмах-косогорах?»

Страшнее всего, что вдолбила война:
привычку к беде, равнодушие к боли —
мы разве не пели, что «смерть не страшна»?
В блокаду — о да! — не страшна поневоле,
такая закалка войною дана:
хоть вешай, хоть режь нас,
не выдержим, что ли!..

Поеду на Вятку, зимой, как всегда.
На рынке куплю сундучок из соломки
и дымку-любимку...
Мы с мамой сюда
мечтали добраться. На этой негромкой
реке отдышаться от боли и льда.
Но все затянуло ветлужской поземкой...

А В Г У С Т

Сорок пятый. Рассвет. Опергруппа
совершает за Неман бросок.
Озираемся сонно и тупо.
Борт машины втирается в бок.

Рвет слезу обжигающий ветер,
на ухабах трясется башка.
По-медвежьи рычит «студебеккер»,
ощетинясь стволом ДШКа.

За плечами у нас мировая,
а теперь... с хуторами война.
Разлетается сырь полевая,
исчезает, как мышь, тишина.

Эти рейды зовут «операция
по очистке от банд».

Хутора
спят еще. Но окликнула рация
нас отсюда, и, значит, пора!

Соскочили — и с ходу за дело:
прочесали окрестный пейзаж.
В белой роще наткнулись на тело —
повернули... о господи, наш!

С кем вчера еще жили в надежде,
что теперь-то остались в живых...
Рядом малый в крестьянской одежде —
в рваной куртке, в ботинках худых...

Видно, сразу пальнули друг в друга.
Мы их в кузов сложили рядком.
С недоверьем смотрела округа,
как мы тихо назад подаем.

.....

Хутора повалились за ставнями
на колени молиться Христу:
кумачовые буквы «За Сталина»
мимо них пронеслись на борту.

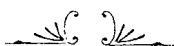
ВНИЗ ГОЛОВОЙ

Как в Петербурге снимали когда-то,
наши пока не умеют ребята —
видно, халтурят, к тому же и план...
Адрес фотографа, имя, виньетка,
как на картинах, есть тень и подсветка,
важные лица былых горожан.

Вниз головой на асфальт и на гравий
ворох старинных ничьих фотографий,
в грязь под колеса, на ветку, на зонт.
В мае старуху свезли в крематорий:
некому плакать, и — горе не горе —
новый хозяин заводит ремонт.

Словно живое, цепляясь за окна,
падает вниз из квартиры высотной
кровное наше, недавнее — пласт.
Давят его «жигули» и кроссовки,
метит их бобик с обрывком веревки,
дворник метлой их и матом горзд!

Дольго ль поднять и спасти... Неохота!
Будто наследники прошлого — кто-то.
Втопчется в землю, вобьется дождем.
Занятым важной тусовкой девицам
не запретишь каблуками по лицам...
Впрочем, и мы где-то рядом идем!



* * *

Любимую терять лишь в юности не больно,
два месяца тоски-печали, и довольно.
Затянет-заживет, эх, не пройдет и года:
природа ворожит для юности, природа!

Любимую терять лишь в юности — лирично.
Не страшно, не на век и, значит, не трагично.
Впервые обожгло — ты к таинству причастен.
Ты плачешь, но светло,
ты счастлив, что несчастен.

Любимую терять лишь в юности к свободе,
тебе вдруг не должны и ты не должен вроде.
Вновь жить, как бы идти по Невскому без цели,
еще и позвонить Наташе, Оле, Нелли...

Любимую терять теперь — иное дело,
когда вокруг тебя вся роща облетела,
когда судьба горит в одном прощальном взмахе
и «навсегда» гремит и впрямь
как сталь на плахе!



* * *

Не знает одиночества природа,
садам не досаждают холода.
Сквозь оптику ночного небосвода
видна высоковольтная звезда.

А облако ночует где придется.
Беру ведро. Темно. И моросит.
Вода прямоугольная колодца
мерцает в глубине, как антрацит.

Тут клен домашний. Там живая верба.
Задворки, огород. А выше крыш
ветхозаветной тверди стратосфера,
на ангелов рассчитанная тишь...

* * *

Ветер с Балтики. Берег российский.
Листьев птицы. Пространство небес.
Над мостами свинцовые брызги.
Тонкий шпиль. Петропавловский крест.

Город осени. Воздух пресветел.
Летний сад. Золотая зола.
И над шпилем — эпохи свидетель,
флюгер-ангел, два вечных крыла,
не сокрытых стеной крепостною.
Слава богу: ни звезд, ни торжеств.
Лишь сурово простерт над Невою
этот благословляющий жест...



СЕРГЕЙ ДРОЗДОВ

Ч И Т А Я П И С Ъ М А

Много крепче микроб фашистский
вцементирован в плоть страны,
чем кремированный Вышинский —
в кирпичи Кремлевской стены.

У А Н Н Ы

Осенний день как будто спятил,
Вогнав окрестности во мглу,
Лишь с плотницким усердьем дятел
Колотит клювом по стволу.

Студеным пламенем пылая,
Листок срывается с куста,
И дачка ваша номерная
Стоит, никем не занята.

Все, с вами связанное, свято,
Теперь вы — ровня божествам.
Лед тронул лужицы, а я-то
Иду на поклоненье к вам.

Притих поселок, нет приезжих,
Дрожит полуденная мгла,
Окаменелых сыроежек
Я вдоль дороги набрала.

Чем ближе к вам, тем лес плотнее.
Вороны с голоду снуют.
Но вот погост, но вот аллея,
Но вот последний ваш приют.

Вот белый профиль, вот могила,
Скамья, шершавая плита.
Я сыроежки разложила
У основания креста.

Здесь кто-то был, свернув с дороги,
Я вижу яблоко, свечу
И вспоминаю ваши строки,
И коченею, и молчу.

Навек с землею совокупны,
Укрыты россыпью листьев,
Да как же вы теперь доступны,
Да как же беззащитны вы...

КОЛОСКИ

Из дому! Из дому!
На люди! На люди!
В ливни, в метели, в буран,
Лужи мутя, спотыкаясь о наледи,
Отроки сходятся в клан.

Скучась, выдумывают аномалии
Музыки, моды, страстей,
Чтоб распоясали, чтоб одурманили,
Проняли чтоб до костей.

Миру, как перелицованной ветоши,
Не доверяют мальцы,

Словно они на планете последыши,
Пасынки и не жильцы.

Вытереть ноженьки детоньки тужатся
Об исторический хлам
То ли от сытости, то ли от ужаса,
То ль из презрения к нам.

То ли посев побежден засорением,
То ли слабы корешки...
Что ж мы за семья, коль платят презрением
Нам, не созрев, колоски?



ЭЛИДА ДУБРОВИНА

* * *

Расплывется от дыма и слез
В перечеркнутых строчках страница,
И бессонница, мачеха грез,
В золотые слова превратится.

Упадет на тетрадь голова,
Ручку выронят сонные руки...
Только где отыщу я слова
О тебе и о страшной разлуке?

Демон бездны не зря голосил,
И встает за земными словами,
За последнею вспышкой сил
Черный сон с голубыми цветами.

За посмертную маской зимы,
За судьбой, за осинником голым
Заклубятся лилово дымы
Ядовитых, как ирис, глаголов...

И очнусь. И кому рассказать
О полете в беспамятной бездне,
Что опасно словами играть:
Есть предел, за которым возмездье.

Вся я в шрамах, гляди, от огня,
Как сивилла, прозревшая чудо.
...Все равно ты заманишь меня:
Все трудней возвращаться оттуда.

А Р А Х Н А

За великою Звездной Метлою
Где-нибудь на пустом чердаке
У вселенской печурки с золою
Тихо прялка жужжит в уголке.

Здесь, где прячется робкая пряха,
Всех-то судеб скрестились лучи:
Паучок, мохноножка Арахна,
Нить времен бесконечных сучит.

Мирозданья глухие задворки
С роковым паучком в уголке
Могут быть у поэта в каморке,
У профессора на потолке.

Или в погребе, пахнущем сырью,
С прошлогодней картошкой гнилой,
Или в порванных струнах на лире —
В общем, где-то за Звездной Метлой.

Откровеньем крестьянского мифа
Замохнатится эллинский сон:
В паука превращенная нимфа
Держит в лапках концы всех времен.

И на самом краю подсознания,
За какой-то запретной чертой,
Бьется мухой, дрожит мирозданье
В паутине ее золотой.

К О Л О С Ь Я

Мы поруганной нивы колосья.
Злая нежить идет по полям.
Нас повырвут с корнями и бросят,
Будет больно земле и корням.
Нас покинут и братья, и други,
Нас забудут, но мы прорастем
И в грядущей беспамятной вьюге
Боль земли и корней воспоем.

Кто за нас, свирепя и мучась,
Пронесет сквозь века эту весть?
Только в этом и есть наша участь,
И надежда, и сила, и честь!



МИХАИЛ ДУДИН

МАРШ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Весь мир объемлет сразу
Смертельная тоска.
Выходят по приказу
Конвойные войска.

Идут железным строем
С редута на редут
И Время под конвоем
В Историю ведут.

Их постоянный спутник —
Решительный успех.
Весь мир для них — преступник,
Они превыше всех.

Любые стены треснут
Под взглядом этих глаз.
Убьют! Они — воскреснут,
Но выполняют приказ.

Мир разделен на части,
В нем властвует тоска,
Пока во власти власти
Конвойные войска.

Пока во власти власти
И сила, и приказ...
И гасит в мире страсти
Слезоточивый газ.

ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ ВОСПОМИНАНИЕ

Мать погромщиком убита
Без отмщения в веках.
Девочка из Сумгаита
На чужих сидит руках.

Все глаза от страха прячет,
Не глядит на белый свет.
И Христос над ней не плачет,
И не стонет Магомет.

* * *

Страх реактивных пугал
И водородный гром
Жизнь загоняют в угол
И рушат все кругом.

Не тешат взгляд и души,
Мир голодом моря,
Разграбленные суши
И мертвые моря.

Для мутного тумана
Все средства хороши.
С безумием урана
Идет распад души.

И солнце с морем вровень
За смутную черту,
Багровое от крови,
Уходит в темноту.

Меняет время лики
У смерти на пиру.
И дует ветер дикий
В озонную дыру.

* * *

Мир спит под спудом СПИДа,
Не ведая стыда,
С заманчивостью вида
На выход в никуда.

Отвергнутая богом
В пучине гиблых мест,
Жизнь еле дышит смогом
И тихо стронций ест.

Впотьмах продажный гений
Готовит общий мор.

И смерть из мертвой тени
Глядит на жизнь в упор.

Живой воды колодцы
Остались без воды.
Жизнь рушится, но бьется
С нашествием беды.

Надежда общей цели
Скрывается вдаль.
...Кит ищет в море мели
И гибнет на мели.



У ВЕЧЕРНЕГО ОГНЯ

По вечерам дрова горят в печурке,
И с полосами тени на стене
Свет от огня, как бы играя в жмурки,
Мою судьбу изображает мне.

Лицо огня показывает лица
Моих друзей, растерянных давно.
Жизнь перевертывается и длится,
И повторенье прошлому дано.

И горько мне, и тягостно, и страшно
От правды, просвещенной до корней
В судьбе и жизни злой и бесшабашной,
Которая, увы, была моей.

Вот я по ней иду напропалую,
Плечом касаясь теплого плеча.
Со всеми вместе маюсь и ликую
В торжественной тени от палача.

Но не найти мне от себя прощенья,
Не оборвать предательскую связь.
Нет на земле такого помещенья,
Где прошлого соскабливают грязь.

Горят дрова. Я придвигаюсь ближе
И в глубине подвижного кольца
В фантазмагории преображенья вижу
Улыбку материнского лица.

Я к ней тянусь, как нищий к подаяню
На долгом изнурительном пути,
И говорю ее души страданью
Всей наболевшей совестью: «Прости...»

* * *

Все путают ночные зеркала,
Вывертывая душу наизнанку.
Двадцатый век козлом вокруг кола
Бежит, стараясь ухватить приманку.

Раскручивает время карусель,
Жизнь еле держится на карусели.
Ее судьбы возвышенная цель
Позабывает назначенье цели.

А ты куда летишь, моя душа,
Не ведая, на что мы в спешке сели,
Куда несемся, в страхе не дыша,
За скачущим козлом на карусели,

Не в силах изменить? Не изменя.
Нас бешеная скорость не добила.
Из будущего — прошлое в меня
Нацелено пустынею дебила.

И мне моя вселенная мала.
Все путают ночные зеркала.



На свою,
на родную,
где май,
Где подругам ночами не спится...
Ковш по кругу плывет,
и эмаль
В полумраке от рук золотится...



ЛЕОНИД ЗАМЯТНИН

* * *

Не ставьте,
не ставьте
В своих биографиях точек.
Ну что за беда,
Что в душе и на улице —
слякоть?
Я словно платочек,
В который так славно поплакать.
Куда вы спешите?
Пройдите сначала все должные круги.
Шуршат мураши
в муравейнике —
Их не тревожат вопросы
Судьбы и погоды.
Я жду вас,
друзья и подруги.
Несите,
несите скорее
Огромные круглые слезы.

ПОМИНКИ НА КЛАДБИЩЕ У ДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ В МЦХЕТЕ

И не рвали волос, не стонали
В немоте, в дурноте, в духоте...
И закуски, и вина стояли
На широкой могильной плите.
Пели так, как умеют грузины.
Возникло сплетение рук,
Словно тяжести вместе грузили...

Обрывая мелодию вдруг,
Зазывали случайных прохожих,
Разливали в стаканы вино.
Если б вдруг поминаемый ожил,
Он бы пел с ними вместе давно.



НИНА ИВАНОВА-РОМАНОВА

Ц В Е Т Ы

Я прибираю торопливо свое жилище. Пусть все — торжественно-красиво, свежей и чище.	На стол, на рукописи толщу, мой искус тяжкий, Ты с фотоснимка смотришь молча, по грудь в ромашках.
Я надеваю выходное глухое платье. Урочный час пришел за мною. (Благословляйте!)	Вот я шепчу неразлично: «Зачем? За что же?» А ты — исток, первопричина — и не поможешь...
Еще цветы. Добавить, что ли, два темных мака? Как незасеянное поле, зовет бумага.	Случайность есть. Ей трудно очень, но ждет таланта. Есть шифр и смелость, есть и доче- ри коменданта!
Заштору дверь от спрута-быта, от липких буден. А даты входят — им открыто. И час мой труден.	(Тогда мы смотрим в стену, как бы и не поверить, Что времена ключами правды откроют двери!)
Ведь надо мною — что вершины, что тучи-башни, Плывут такие годовщины — представить страшно...	Тогда с терпеньем ты прослушал весь план мой дикий, Но был задумчив, равнодушен, по грудь в гвоздике.
И хоть слежалось, подымаю сорокалетье — Недели северного мая и лихолетья.	А незабудки и всю зиму, краса лесная, Перед тобой цвели незримо — ты это знаешь.
Так незабвенно. Так несладко. Хочу иначе! Молю о чуде, бьюсь в догадках, пишу и плачу.	Каких еще бы? Тусклых, ярких? Холодных, душевных? Чтоб вышел ты из темной рамки, перешагнув их!

* * *

Как, не ударясь в крик, о фанерном детстве,
Бетонном слоне, горнистах гипсовых в парке,
О снеге Невы под небом густейшей заварки,
О колоколе воздушном, хранившем меня?
Вечером мамина тень обтекала душу,
Не знала молитвы, но все же молилась робко,
В сети ее темных волос золотая рыбка,
Ладонь ее пахла йодом. Сонная воркотня...

Всей глубиною крови я льну к забытым
Тем вавилонским пятидесятым,
Где подмерзала кровь на катке щербатом,
Тек сладковатый лед по губам разбитым.
Время редееет, скатывается в ворох
(А на рассвете так пламенело дерзко),
И остается памятью в наших порах,
Пением матери на ледяных просторах,
Прядями вьюги над темнотою невской.



СПАС НА КРОВИ

Теперь скажу — тяжеловесный Спас
Поставлен на крови царя и террориста.
Сюжет трагический.

Но отчего ребристый,
Лазоревый, глазурный, в завитках,
Собор сверкает весело для глаз?
О Александр больной, о нищий Гриневицкий!
Две горсти праха спорят до сих пор:
«Тиран, душитель, если б знал ты тяжесть!»
«Дурак, мальчишка, если б знал ты тяжесть!...»
Но общая их повенчала тяжесть —
Оплывший цветом, лакомый собор.
Ай молодцы художники России —
Отпраздновали, счистили, замыли.
Любая кровь — фундамент для искусств.
И молодцы сапожники России —
Собор под склад сначала запустили,
Потом взорвать хотели, да забыли,
И он стоит теперь, смертельно-пуст,
Неясный символ, странное строенье,
Храм Светлого Христова Воскресенья.

А. Сопровскому

Ты прав — расправленный простор,
Трава, присоленная снегом,
И в полночь жизни — смутный вздор,
Что не излечишься побегом,
Судьба... больна... а не страна...
Все это было, было, было —
Как бы истертое кино
Перед глазами зарябило.
По мне же — горсточка тепла,
Свободный говор, гонор нищий
И страшная живая мгла,
Что за спиной моею свищет,
Важней. В любой из наших встреч
Сквозь проговорки и усталость
Земная соль, родная речь
Тесней сбивается в кристаллы.

ИГОРЬ ИНОВ

В П А М Я Т Ь О П Ы Ж И К Е

Ты не пришел —
ты послан был кем-то,
о ком ничего не известно.
Вкатился пушистым комочком
и — здравствуйте, вот он я!

Не мы растили тебя,
ты — нас.
Ты сделал нас добродушнее, великодушнее.

Ты не любил сантиментов и лести,
знал себе цену,
но встречал нас нетерпеливым возгласом
и к плечу прижимался пушистой щекой.

Ты с воронами враждовал —
и вороны стали нашими недругами.
Ты с соседской собакой ладил —
и добряк доберман стал нашим другом.

Ты с достоинством жил
и умер с достоинством —
мужественно и кротко.

Кресло поныне в твоих ворсинках,
теплая впадинка на диване
уже никогда не разгладится...

* * *

Глухо ухает полигон.
Истребители реактивным хлопком
преодолевают барьер.

На зеленом бугре,
в полуметре от сине-белого неба
черно-белое стадо коров
словно удерживает на рогах
вспоротое посвистом мироздание.

Точно вымя — округлые облака.
Над подойником вымя круглится облаком —
ночью Млечным Путем прольется.

У БЕРНАРДА ШОУ

Сочинители однодневок —
на помпезной, столичной Флит-стрит.
«Дейли миррор», «Дейли мейл», что напротив Пен-Клуба
и кондитерской на углу.

Шоу, схватив суковатую палку
и шляпу, широкую, точно отмель
во время отлива на Темзе,
сбежал к пологим холмам, перелескам, проселкам.

Размышляет о переустройстве мира,
то и дело влюбляется,
прогуливается в обществе кедров и остролистника,
колет орехи вызолоченным «Оскаром»,
полученным за кино-«Пигмалиона», —
бывает, почести тоже годятся
на что-то дельное!

Гладко выбрит электрокосилкой упругий газон.
Зато Бернард Шоу колется, точно кактус,
и в садовом своем кабинетике — дощатой вращающейся конуре —
движется вслед за солнцем.



ПОЭЛЬ КАРП

* * *

Надежды нет, и ждать не надо,
И даже сетовать не след.
К тебе поднять не может взгляда
Вертящий радио сосед.

Опять молчание, и снова
Смычки взрезают груз обид,
Журчит кларнетом глас былого,
Фагот напраслину сулит.

И ты, наскучив жить по нотам,
Решишься вдруг в ночной тиши
Доверить лестничным пролетам
Бессмертие своей души.

1948

* * *

Нам по Лиговке налево
Заворачивать опять,
И щемящего напева
Станет вовсе не слышать,
И в открытое пространство
Вроде выйдешь не впервой:
Коли с близкими расстался —
Все равно что неживой.

Хорошо хоть, что дорогу
Различишь в кромешной мгле,
Хорошо хоть, слава богу,
Что в отеческой земле,
В том краю, где сам когда-то
Груз подобный принял ты,
Озирая виновато
Камни, звезды и кресты.

Никогда мужчин и женщин
Перечесть я не смогу,
Пеплом по ветру пошедших
Или брошенных в снегу,
Перебитый без пощады,
Чуть не выбитый народ,—
Совершить они бы рады
Наш прощальный поворот.

А как с Лиговки свернете,
Будет путь и прям и прост:
Послужил своей заботе —
И ложись во весь свой рост.
Вот он, жребий твой желанный,
И прощай пустая грусть —
Мне бы только до Расстанной,
Дальше сам я доберусь.

* * *

Не то чтобы выгляжу старым,
Усталым бываю скорей,
А все же пророчили даром,
Что стану с годами добрей.

Держусь за пустые бумажки,
Где ежится стиснутый стих.
Отдать бы их Машке и Сашке!
Кораблики сделать из них!

Ан нет — все им под ноги снова,
А там — хоть ни слова в ответ,—
Не то чтобы время сурово,
Но попросту времени нет.



СЕРГЕЙ КАШИРИН

О Р Б И Т А

С укоризной, бывало, говорил мне отец:
«У всего есть начало, но ведь есть и конец!»

Ах, печаль от заботы на отцовском лице!
Я не думал в те годы, что там будет — в конце.

Был я молод и весел. Был отчаянно смел.
На земле куролесил. В небесах не робел.

Горько мама вздыхала: «Перестань, сорванец!
У всего есть начало, но ведь есть и конец».

Ах, слезинка-росинка! Маму искренне жаль.
Но манила тропинка в марсианскую даль.

Уводила дорога в звон вселенского дня.
Никакая тревога не страшила меня.

Небо штормом трепало: «Образумься, птенец!
У всего есть начало, но ведь есть и конец».

Ах, судьбина-кручина под высокой звездой!
Внеземная пучина угрожает бедой.

Но зовет бесконечность неизвестно куда,
Обещает мне вечность для борьбы и труда.

Как бы время ни мчало, у орбиты-кольца
Никакого начала, никакого конца!

РАЗДУМЬЕ В ПОЛЕТЕ

Я не Перун и не Зевес,
Но лишь волной сверхзвуковую
Коснусь деревьев, ляжет лес
На землю скошенной травой.
В моей ракете — не картечь:
Она заряжена ураном.
Падет на мир — взметнется смерч
Над Ледовитым океаном.

Какая сила мне дана!
Я сам собой горжусь, не скрою.
Я — бог! И я же — сатана...
Я сам себя боюсь порою.

Мощь сотен тысяч лошадей
В моей крылатой колеснице.

А сколько ядерных смертей
В моей деснице!

Смерть предназначена врагу.
Но, над земным летая шаром,
Я расколоть его могу
Одним нечаянным ударом.

А я совсем не лиходей.
Не бог. Не сатана надменный.
Люблю цветы. Люблю детей.
Я человек обыкновенный.

И потому я тоже жду
Международную разрядку...
О, люди, гляньте в высоту —
Прошу посадку!



АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ

БАЛЛАДА О ТРЕХ ПРОЦЕНТАХ

Жил на свете бухгалтер Леснихин
от державных забот вдалеке,
в старом доме, на улочке тихой,
в незаметном своем городке.

Был он робок, со всеми приветлив,
был не молод — виски с сединой,
и под именем ставил в анкете:
год рождения — двадцать второй.

Жил он просто: вставал спозаранку,
ровно в восемь — в конторе не гость —
он с коротенькой орденской планкой
пиджачишко свой вешал на гвоздь.

В нарукавники синего цвета
он привычно влезал всякий раз,
и высчитывал точно проценты,
и сводил аккуратно баланс...

Но однажды с рябой киноленты,
пыхающей с белой стены,
он услышал о страшных процентах —
трех процентах, пришедших с войны.

А с экрана — наотмашь по нервам —
голос все уточнял, как живой:
«Год рождения — двадцать первый,
год рождения — двадцать второй.
Год рожденья...»

То цепко, то зыбко
цифра билась, впивалась в висок:
«Три процента? Нет-нет, здесь ошибка...»
(Он ведь знал в арифметике толк.)

Одиноко над стареньким фото —
тридцать три позабытых лица,—
вновь и вновь вспоминая кого-то,
он всю ночь просидел до конца.

Ваня, Миша и Лева Коврыжин —
весь десятый... Но билось в виске —
Если я в этом крошечке выжил,
Значит, вы... Неужели вы все?..

Он не верил: здесь явно — ошибка.
Он исправит, найдет ее сам.
Он звонил и спрашивал хрипло,
слал запросы по всем адресам.

Но безжалостно, непоправимо
приходил за ответом ответ:

Миша Волков — у Старого Крыма,
Под Моздоком — Иван Пересвет,
Лев Коврыжин — 20 марта,
за Дунаем, к исходу войны...

Ничего не исправил бухгалтер,
лишь добавил вискам седины...

В городке неприметном и тихом,
с полинявшей на солнце листвой,
проживает бухгалтер Леснихин.
Вы, возможно, встречали его.

Он живет в двух кварталах от центра,
в старом доме над сонной рекой.
Он из тех, он из тех трех процентов:
год рождения — двадцать второй.



СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ

* * *

Разворовали, разбазарили,
нажгли костров, шагнули ввысь...
В бушующем над пеплом зареве
теперь попробуй разберись.

И что за страсть к слезам и пламени,
хмельной угар, а поутру —
глаза сухи и руки каменные,
и нет спасенья на ветру...

Не дождь промозглый в тягость нищему,
а стыд, что надо голосить.

Горьки дымы над пепелищами,
а у кого судьбы просить?

И праведные, и запойные —
одни грехи, один предел...
Удел рассчитывать войнами —
исконный, видимо, удел.

И наше русское, бессрочное —
то на разрыв, то на излом...
Душа — творение сверхпрочное.
Но тронешь — узел за узлом...

* * *

Может быть, это время эпической прозы,
время долгого,
жесткого взгляда туда,
где веками метались безумные грозы,
тьмы вскипали, сторали дотла города,
где до кромки предельной наполнило чашу
горькой памяти сверхтерпеливой Земли
и над черной дырою галактику нашу
изначальные силы опять занесли?
Может быть, человеку и вправду пристало
эту книгу судеб дописать —
и закрыть,
чтобы кровь из-под скорбных скрижалей
хлестала,
как и должно тому чьей-то волею быть?

...Я боюсь этих мыслей —
внезапных, бездонных,
этих вспышек бессилья и страха в тиши,
этих ливней полночных — бесшумных,
бездомных
за стеной и в разверстых глубинах души,
я боюсь,
потому что не знаю ответа,
и еще, коль на свете всеведенья нет,
я боюсь,
что безмолвье проклятое это
и действительно, может, тот самый ответ...

* * *

Корову гонит с выпаса старик —
одну их трех,
прижившихся в поселке.
Раскачивая выменем, она
вышагивает этак сановито
и старикашке действует на нервы:
его его корова раздражает
медлительностью.

Он орет истошно:
«Ух ты!..», ну и так далее...

Знакомство

с российским бытом
и народной речью
позволит вам на место многоточья
недостающее подставить слово,
и чем грубей, тем к правде жизни ближе.

А между тем она ему несет
и молоко (по тридцати копеек
за литр), и — что уж там скрывать! — навоз
А он, скотина, этого не ценит,
вопит, детей пугая. А корова,
как и любой разумный человек,
молчит себе, на брань не отвечая...

Но стоит пожалеть и ворчуна:
ах, дома на него кричит жена,
да так, что стекла в страхе у соседей
дрожат.
И сын спивается.

И дочка
окружена оравой детей
неведомой породы.

И в боку
болит. И трудно сено убирать.
И все прошло. А ведь спешил куда-то
и для чего-то торопился жить,
и вот, в итоге,— нервы на пределе...
А этой стерве некуда спешить...
Ну разве не обидно, в самом деле?



* * *

Памяти отца

Теплою дождевой
Я ополоснусь...
«Экий стал ты новкий,—
Батя шутит,
— Гусь!»

«От гуся и слышу!..» —
Хохочу в ответ...
Дождик тише, тише...
Бати рядом нет.

И зеркальны лужи,
Солнце на венце.
Мать зовет на ужин...
Все как при отце.

* * *

Где вы, дружьи тихие улыбки?
В душу ударяют сквозняки.
Если бы все прежние ошибки
Были бы как просто синяки.
Если бы все прежние заботы
Были бы заботами теперь...
Если бы не я, а кто-то, кто-то
Выдохнул тебе:
«В любовь не верь!»
И сказал, прощаясь:
«Все забыто...»
Если бы все прошлое
Сквозь сито
Поотсеять...
Чем бы стали жить?
Радоваться,
Плакать
И любить...



АНАТОЛИЙ КРАСНОВ

* * *

И всюду клевета сопутствовала мне...

Анна Ахматова

Была молода и красива, Не знала ни зла, ни обид, И голову гордо носила, И не был любимый убит.	И с ней, потрясенною, вместе Сквозь слезы и огненный дым Шагала дорогою чести Под небом, от муки седым.
---	--

Ударила пуля беду, И горем ударил навет, Но Родины имя святое Чернить не позволила, нет.	Сама свое поле косила, Сумела с ума не сойти И голову гордо носила До края земного пути.
---	---

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТЮД

Сопернику рукоплескал тиран,
Он подчинялся форуму и плебсу,
Он улыбался,
 руку жал тому,
Кто был любим народом;
 но, к несчастью,
Тот вскоре был убит легионером,
Которого назвали так:
 «наймит»...
Кто нанимал, известно только богу,
Папирусы тех лет давно сгорели,
Хотя иные думают о том, что...
А думать никому не запретишь.

* * *

И тот, кто, сжавшись, вполз в свою ночную щель
И лапками держал белки и углеводы,
И тот, в футляр убрав смиренную свирель,
Дозволенно трубит бравурный марш свободы.

Я мысленно не стал эпохи делать срез,
Я шел как бы сквозь ад покинутой деревней,
У мертвой став реки, я плакал, выйдя в лес,
Так жаль мне было всех в моей Отчизне древней.



* * *

Памяти моих родственников

Этой пыточной нету в музеях страны,
В этих камнях застыли предсмертные крики,
И прекрасные тени у тайной стены
Сохраняют свои вдохновенные лики.

О, как поздно выводим невинных на свет,
Не пройти по траве им ногами босыми...
На вершинах действительных наших побед
Перед ними склоняется, плача, Россия.

* * *

Быть или не быть, вот в чем вопрос...

Шекспир. Гамлет, принц датский

...и все умы, вместе взятые, и все, что они
сотворили, не стоят единого порыва мило-
сердия...

Блез Паскаль

Ты вблизи философского камня,
Посреди аппаратов таких,
Что ни капельки в Лету не канет
И ни вспышки с экранов твоих.
Будет радость, как атом, громадна,
Ты желанный почувствуешь миг,
И тебя разглядит Ариадна
Среди хаоса формул и книг.
И пред тем, как пойти отоспаться,
Этот камень, и впрямь неземной,
Ты, как мальчик, потрогаешь пальцем
С никотинной на нем желтизной,
И тогда ты забудешь о главном
С безмятежной тоской на лице,
О своем бесконечно бесславном,
Беспрограммном, безумном конце.
Потому что невидимый кто-то
Уберет тебя, пешку в игре,
И с отчетом по теме работы
Будет дьявол плясать на заре.



АЛЕКСАНДР КРЕСТИНСКИЙ

ОТКРЫТКА С ВИДОМ НА НОТР-ДАМ

И. Б-ой

Синевы синее небо над Парижем.
Может, раны сердца Сеною залижем?
Защечем раны на твоём французском
В голубой кафешке, в переулке узком.
Я тебя смущаюсь, стал я домоседом,
Разучился толком говорить с соседом.
Как с немым, со мною наберись терпенья
От стихотворенья — до стихотворенья.
Я не бит, не пытан, не сидел в окопе,
Год мой непризывный, не бывал в Европе.
Но петли блокадной саднит след на шее,
Синий след на шее, синевы синее.
Вспять качнулись годы, аппарат стрекочет,
Времени пружину показать нам хочет,
Клио профиль тайный, темный, непарадный.
Это перемотка, пленки ход обратный.
Там вперед спиною дядя мой шагает,
Из груди партийной пулю вынимает.
Час неотвратимый, точная наводка.
Снова ход обратный, снова перемотка.
И хрустит купюра с подписью наркома —
Это подпись дяди, мне она знакома.
Так причем здесь небо над твоим Парижем,
Если пляшет Клио в ракурсе бесстыжем,
Если пляшут с нею жертвы и тираны,
Если в них вперились теленаркоманы,
Если день грядущий грезится мутантом,
Что похлеще ада, явленного Дантом,
Если мошки соло в полночи бессонной —
Словно свист прокола из дыры озонной,
Если век мой замер с обнаженным пахом,
В миг совокупленья пораженный страхом.

* * *

Так хочется верить, что я начинаю.
С шуршаньем таинственным кожу меняю,
Крылатые карандаши очиняю,
Как мальчик, полуночный бред сочиняю.

И вот под ногами круглится Дворцовый,
Лоснится пиджак мой, наследный, отцовый.
За ребрами тает восторг леденцовый,
И ветер свистит над столетьем — гонцовый.

В дубовую залу литобъединенья,
Где копится дух благородного тленья,
Я выпущу голубя стихотворенья
Во имя паренья, во имя паренья!

Как он упоительно реет бумажно!
Не ведаешь доли — и вроде не страшно.
Все было, все будет — и бремя, и брашно.
Пускай не со мною — неважно, неважно.

ВИКТОР КРУТЕЦКИЙ

* * *

Нас предал он,
Свою спасая шкуру.
Бежал от рукопашного,
Решив,
Что все мы смерти не боимся сдуру,
А он-то не дурак,
Он будет жив...
Мы больше не встречались с этим волком,
И черт бы с ним,
Да и с его судьбой,
Но вот беда,
Во взводе новом долго
На всех косились мы,
Готовясь в бой.

В Ц И Р К Е

Лег с улыбкой акробат
На натянутый канат
И качаться стал под куполом,
Как в зыбке.
Цирк захопал:
«Браво!.. Бис!!!»
А я думал:
«Не сорвись...»
Я-то цену знал его улыбке.
Довелось ходить и мне
По натянутой струне,
И стоять на голове,
И кувыркаться.
Только не было вокруг
Столько добрых глаз и рук
И таких неутихающих
Оваций.

К А Р Ь Е Р

О время,
Сделай в памяти провал.
Я вновь карьер и псов у вышек вижу,
Карьер, в котором бут я добывал
И погибал
И только чудом выжил.

Я шел к нему со стражей по бокам,
 И там в мороз,
 На дне того карьера,
 Я, не молясь уж никаким богам,
 Все — и надежду потерял, и веру.
 Лишь бог любви,
 Всесильный, властный бог,
 Приподнимал меня,
 Когда я падал.
 Он жизнь
 И душу мне сберечь помог
 И там,
 На том последнем круге ада.
 В его призывах был такой накал,
 Что я вставал,
 Снежинки ртом хватая...
 О время!
 Сделай в памяти провал...
 Ночь за окном...
 Тишь...
 Благодать какая!



ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ

* * *

Можно писать на стенах,	кровью,
на чистом снегу,	карандашом.
на камне,	Это ведь так неважно —
на древних кожах,	ч е м
бумаге,	и на чем
на небе —	написано.
во весь горизонт!	Главное —
	что
Можно царапать ногтем,	написано.
если ты в одиночке,	Больно?..
можно писать углем,	Болью пиши!



И даже рыбы
Крикнули:
«Нас — нет! Мы — далеко!» —
И опустили жалюзи
На зеркальную витрину озера.

И только лес, заядлый домосед,
Замешкался.
Он все переминается
И что-то шепчет под нос.
То ли
По пальцам
Считает дни и делает зарубки?
То ли
Поет частушки,
Похлопывая себя ветвями по бокам?
То ли
Угрюмо пилит корни,
Которые запутались в земле
И не пускают убежать далеко
На берег теплого,
Безветренного моря?

1963

* * *

Лене

А твой дом
мы построим
на пригорке зеленом,
над ручьем голубым.
Слепим русскую печку
из лучшей, кембрийской глины.
Возведем
крутое
крыльцо.
И прорубим окошко
как можно,
как можно пошире.
Чтоб тебе
хорошо было видно
и ветку березы,
и в далеком тумане
ветку
узкоколейной
железной дороги.

1966



КОРАБЛИ МАГЕЛЛАНА
ПЛЫВУТ ЧЕРЕЗ ВЕЛИКИЙ ОКЕАН

Плыли месяца,
плыли другой.
Съели всех крыс,
съели кожу,
защищавшую мачты.
Злые — думали о людоедстве.
Добрые —
апатично жekali опилки.
По вечерам вспоминали
гостеприимных патагонцев:
они давали шесть кур
за карточного короля.
Обессилив,
лениво ругали хромого начальника.

А начальник был суров
и, наверное,
думал о далеком времени,
когда не понадобится больше
унижаться перед правителями,
умирать с голоду,
расстреливать из пушек
непокорных товарищей,
бросать свою полунищую,
беззащитную семью
и изменять родине
ради,
быть может, великих
открытий.

1958

* * *

Задумывалась ли ты о том,
с какой неистовою, бешеною силой
по проводам,
по тонким паутинкам,
готовым, может быть, вот-вот порваться,
летят те телеграммы, те депеши,
что ты в просторной, светлой, тихой почте,
на стул усевшись и перо держа
незябнущею, слабою рукою,
писала, подобрав себе слова,
сложив их в кучку, рядом на столе, беря одно,
затем беря другое
и ставя друг за другом
в строчки.
Те маленькие, слабые словечки,
прозрачные, с оттенками намеков,
те сильные и ясные слова,
что смотрят вам в глаза, не закрываясь,
что напирают, бьются в проводах,
толкаются, чужим не уступают,
где — натиском возьмут,
где — ловкостью,
где — обаянием,
что напряженно мчатся сквозь кордоны
ночных телеграфисток (что зевают
и гладят кошку на соседнем стуле),
те громкие, напористые строчки,
которые ты шлешь ко мне,
спеша,

которые бегут, летят и скачут,
чтобы помочь, поспеть и осчастливить,
которые поэтому одни
из всех других,
бесчисленных и бледных,
умеют пронестись позванивающей цепью
сквозь всю Сибирь
за несколько часов!

1959

* * *

Ой как плохо живется
тем, кого поселили
против собственной воли
в магазине «Природа».
Тем, кому запретили
бегать, прыгать и ползать,
не дают улететь,
не велят и кусаться.
Тем, кто смотрит тоскливо
большими глазами
на меня, на Павлушу,
на тебя, Маргарита.
И в мечтах мимолетних
слабо припоминает
чашу, рощу и кушу,
ощущенье свободы,
голод, холод, капканы,
соплеменников милых,
родные пенаты.

1971

«Спектакль был обречен...»

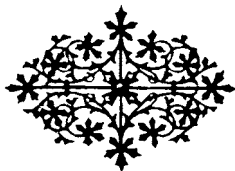
Поэт Сергей Леонидович Кулле родился 29 февраля 1936 года, прожил всю жизнь в Ленинграде и умер 28 октября 1984 года от рака, дома, на руках у жены Маргариты.

Имея много других редких талантов и достоинств, Сергей Кулле по роду жизни был поэт, и только поэт. Но по случайности или, наоборот, вследствие часто преследующей настоящих поэтов закономерности, из сотен его стихов лишь четыре были опубликованы. Литература являлась для него не способом

существования, а смыслом. Ради возможности честно и независимо посвятить себя поэзии он начисто отказался от какой-либо служебной карьеры, но не пытался деклассироваться, как многие из его поколения: пунктуально и добросовестно почти тридцать лет работал на одном месте — в многотиражке «Кадры приборостроения», буквально до последнего месяца жизни.

Оставим специалистам определять истоки его верлибра и принадлежность Сергея Кулле к той или иной традиции. Несомненно одно:

Сколько было детей на Крестовском
до войны!
Я видел — сотни!
По именам
помню сегодня троих:
Вава, Люся, Пронька.
Вава умерла от голода.
Люся —
ее, надеюсь, эвакуировали,
и она сгнула
где-то в безмерных просторах России.
Пронька
(Василий Пронин) —
его труп
мама его
отнесла на помойку
зимой 1941/1942 годов.
(По детям плачу.
По Пронькиной маме воплю.)
1982



«Спектакль был обречен...»

такой поэт мог быть только в Ленинграде, осуществиться только в петербургско-ленинградском пространстве. Он и правда был одним из преданнейших и любящих граждан своего города, по-ленинградски эрудированным и квалифицированным знатоком литературы. И еще живым олицетворением редких сейчас твердейших моральных принципов и той текущей по жилам с кровью культуры, которыми в идеале должен отличаться настоящий интеллигентный человек.

Таким он предстает в стихах, хотя из

врожденной интеллигентности писал не о себе и даже не о том, как трудно оставаться поэтом в глухие, не лучшие для поэтов времена. Он был просто мудр, знал, какими добрыми, сострадательными, терпимыми, готовыми к радости должны быть люди, чтобы глухих или, как еще говорят, застойных времен больше никогда не наставало.

Владимир Уфлянд

АННА КУТЫЕВА

На сотни верст — доползти и слечь —
Трясина сырых снегов.
В шеренге шепотом — русская речь.
И русский — навстречу — рев.

На этом точка. Пространства нет.
Дозорный. Сосна. Луна.

Молчит за нами — на сотни лет —
Как в обмороке, страна.

А выше — звезды. Трухой овса
Рассыпались светляки.
В желтых зрачках волкодава-пса
Отразились мои зрачки.

* * *

Каждый день просыпаюсь, будильник глуша.
Чай не выпив, срываюсь, газетой шурша.
Каждый день забываю то пудру, то ключ.
И метро выплывает, как солнечный луч.

Каждый день возвращаюсь с работы впотьмах.
Зажигаются окна в панельных домах.
В сумке хлеб и кефир. Ветер треплет пальто.
Что-то в жизни хотела я сделать не то.



ВЛАДИМИР ЛАХНО

ДОРОГА НА ПЕТЕРБУРГ

Сбивчивый топот коней,
горестный ропот огней,
встрепанная деревня,
звон распростершихся луж...
Кто через черную глушь
мчит на пределе горенья?
Мокрая бьется шлея,
выбонна, колея,
факела космы на ветках,
вечная грязь и песок
дерзко швыряют возок
спешного человека.

Он, деловит и не глуп,
тянет на плечи тулуп,
пыльный, с полой подпаленной,
будто в бреду над Невой,
из чертежей на него
сыплются арки, пилоны...
Взор у заставы потух.
«Это ли Питерсбурх?
Боже, дела наши плохи!
Темень вселенская...» Зол;
и — пятерню под камзол:
блочи! замучили блочи...

С Ф Е Р А Н О Ч Н О Й О С Т А Н О В К И

Собака лает звонко, утешась январем,
срывается поземка, юля под фонарем,
а люди, в темной шири поспешные всегда,—
немые пассажиры, сошедшие в снега.
Девчонки — улиц дети — кочуют косяком.
Куда, в какие сети их гонит ветерком?
Рисует сумрак свежий все гуще и мутней
студеные одежды, как будто без людей,
кричит доха из колли и шапка из кота:
«Смотри, король-то голый — трускою! Смехота!»
...Я слышу: сверху дунув,
в скрипящей тишине
зловещая фортуна в затылок дышит мне.
Горланит наркоманка, хохочет вурдалак —
нелепая команда! Сожму себя в кулак.
Куда, в какие сферы идут они за мной?
Как беженцы от веры абсурдной и слепой...
Висит снежинок штора — колышат ветерки,
лесок, блестя пробормом, уводит в Озерки.

* * *

Птица давняя крикнет надрывно,
встрепенется, и мы не друзья...
Как я ей объясню над обрывом,
что давно не имею ружья?
Безоружному, страх мне неведом,
хоть держусь за судьбы острие
и, кровавая ладони рассветом,
улыбаюсь улыбке ее.



ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЙКИН

* * *

Всю ночь мне снилась лошадь. Я хотел,
Чтоб мне приснилась женщина нагая,
И, продолжение сна предполагая,
В полудремоте зябнул и потел.

Но лошадь оставалась. Я желал,
Чтоб мне приснилась ягода лесная,
Куда деваться с лошадыю, не зная,
Ресницы тер и яростью пылал.

А лошадь продолжалась. Я-то ждал,
Что мне приснится лестница крутая,
Но, до утра за лошадыю плутая,
Я чьей-то воле смутной угождал.

Мне снилась лошадь. Верили волхвы,
Что женщина нагая — к возрожденью,
Что ягода лесная — к наслажденью,
Что лестница крутая — к восхожденью,
А лошадь не использовать, увы.

Но мне приснилась лошадь на лугу,
Неседлана и словно невесома,
И было мне лицо ее знакомо,
Вот только имя вспомнить не могу.

* * *

Мозжение подслеповатых дней,
Разор и вымолаживанье духа.
Который стал не то чтобы бедней,
Но там, где жгло, теперь тепло и сухо.
Зато почти не раздражает слуха
Молчанье птиц и пение свиней,
Надежда стала памятью, а с ней
Любая боль переносимей пуха.
И ты, моя причудница, и ты,
Твои небесноватые черты,
Твое нетерпеливое дыханье
И польханье, так сказать, ланит,—
Уже ничто тех сфер не заслонит,
Где горний свет и ангелов порханье.

Д В О Е

Постелю себе на плахе, Оборудованной в клетке.	Ни в какую лотерею Не сорву шального банка.
От смирительной рубахи Рукава пришью к жилетке.	Самолет-ковер побрею — Выйдет скатерть-самобранка.
Обоименя ретивое, Все устроится, как надо.	Стану стойкий, как секвойя, И практичный, как Иуда.
Нас отныне только двое: Я и ты, моя отрада.	Нас отныне только двое: Я и ты, моя причуда.

Из беседки сделал ригу
И коптильню из камина,
К Рождеству засолим книгу
И заколем пианино.
За железо легковое
Душу выскребу до дна я.
Нас отныне только двое:
Я и ты, моя родная.

Но пока мы затевались,
Сочиняя хлеб и сало,
Все куда-то задевались,
Никого нигде не стало.
Одинокий ветер, воя,
Кувьркается в камине.
Нас отныне только двое;
Только двое нас отныне.

* * *

Был уклончив, угрюм, нерадив,
Несогласных бежал и согласных.
Не убив, прочадил, не родив,
Не ища утешенья в соблазнах.

Покаяньем пути не торил,
Подаяньем желудка не пучил,
Да и сам никого не дарил,
Никому добротой не наскучил.

Повторенья боялся — и что ж:
Так никем и не стал в результате.
А была только пресная ложь
Да развязная поза некстати.

Все ты морщился важно: «Толпа!»
Тяжело выговаривал: «Стадо!»
А сейчас на вершине столпа
Ожидаешь начала распада.

Только желчная скука была,
Потнорожая сонная склока...
Но зато у чужого стола
Не вострил ты ни зуба, ни ока,

Облаков лиловатый припай,
На глазах ядовитая влага.
Ну, ступай, ради бога, ступай,
Никому ты не нужен, бедняга.



АЛЕКСЕЙ ЛЮБЕГИН

О Д А С Е Л Ь С О В Е Т У

Приехал в отпуск летом
В родимые места
Не плотником — поэтом,
И --- не нашел моста...

По сваям крепко били
Со средним братом мы
И мост соорудили
На льду — среди зимы,

Заявку сельсовету
Я тут же подал, но:
«Уж эти нам поэты!»
Заявку — под сукно.

Чтоб навестить смогли бы
Старушки прах родных
И передать спасибо
Огромное — от них

Зимой нагрянул в гости,
А переправы — нет!..
Дал горбыли и гвозди
Смущенный сельсовет.

Родному сельсовету
За гвозди, горбыли,
За мостик — через Лету...
Спасибо — от Земли!

ИСКРА ЖИЗНИ

Мой самый лучший из Пегасов,
Лети в деревню, где в избе
Не спит крестьянин Петр Тарасов,
Весь в стихотворной ворожке!

И знают звезды, с поднебесья
В земную вглядываясь мглу:
Пока поэт слагает песни —
В избе не поселиться злу!

Охвачен радостною дрожью,
В его стихах увидел я
Ту искру жизни, искру божью,
От коей свет — во все края!

И эту искорку святую,
Склонясь над письменным столом
Я, не жалея сил, раздую,
Чтоб одарить землян — теплом!

Когда же руки их из мрака
К его потянутся огню,
Скажу себе: «Пора, однако...» —
И снова шпоры дам коню,

И полечу над спящей рожью,
Где сонмы ярких звезд уже,
Как искры жизни, искры божью
Горят у вечности в душе!



АНДРЕЙ ЛЯДОВ

ТРИ ПОРТРЕТА

ПОРТРЕТ ПЕРВЫЙ

Художник написал портрет. Прекрасный.
Он мог вполне служить бы эталоном
того, как всем собратьям и коллегам
писать портреты надлежит отныне,
чтоб их высокой Премией венчали,
давали дачи, званья и пайки.

Фигуре основной служили фоном
солидные дубовые панели,
а освещенье было столь уместным
и ненастырным — в духе кватроченто, —
как будто вовсе не было его.

На этом фоне, в этом свете мастер
изобразил грузина пожилого,
чей мудрый взгляд и мягкие усы
смотрелись дивно в строгом интерьере.
И не было бы в том большого чуда,
и кто-нибудь другой бы мог, пожалуй,
такое написать вполне прилично...
Но САПОГИ!

Вот тут-то обалдели
искусствоведы, хваты-кандидаты
и доктора, и дряхлые членкоры,
и даже тетка, бывшая ткачиха,
та дамочка, кого назначат вскоре
всем этим хлипким, ненадежным типам
вправлять мозги и вдалбливать культуру,
и та в немом восторге замерла!

Ах, сапоги! Ну что там Леонардо,
что Рембрандт со своим «Ночным дозором»
(хоть у него там и сапог немало),
а эти уж Матиссы и Ван-Гоги —
куда им, если даже Лактионов
подобного не смог бы произвесть!

Нет, обувь не была тут символичной,
хотя папаша этого грузина
и был сапожник.

Нет, не в этом дело.

В тех сапогах, начищенных до блеска,
великая эпоха отражалась.

То был непревзойденный и бессмертный
портрет Сапог.

ПОРТРЕТ ВТОРОЙ

Прошло немного лет, и вот, представьте,
советский человек, наш современник,
увидеть смог, зайдя в казенный офис,
или на почту, или, скажем, в школу,
плакат на стенке не совсем обычный.
Была то репродукция картины,
добротного, спокойного портрета,
написанного мастерской рукой.

Сюжет и композицию маэстро
лишил разумно всякого изыска,
чтобы не потакать капризным снобам
и быть доступным зрителю простому,
чтобы шедевр понятен был монтеру,
портнихе, завсегдаю шалмана,
секретарю обкома комсомола
и дядьке, что своей могучей властью
картинке миллионный дал тираж.

...За письменным столом перед окошком
сидел мужик, немного полноватый,
с приятной плешью, с крупной бородавкой,
какой-то удивительно домашний,
простецкий, свойский, трогательно русский,
глядел в окно, держа в руке усталой
немодные и явно плюсовые —
для чтения — стариковские очки.

Но для того, чтоб заурядность эта
и натуралистичные детали
не заслоняли главную идею,
весьма предусмотрительный маэстро
назвал картину «Дума о народе».
И тут все сразу встало на места.

В произведенье был, сказать по правде,
не то чтобы серьезный недостаток,
а все ж просчет немного неприятный:
не следовало мастеру так четко
прописывать дубовые панели,
знакомые нам всем по интерьеру,
где только что стояли Сапоги.

ПОРТРЕТ ТРЕТИЙ

Напрасно мы историков ругаем.
Подумайте, каким трудом бессонным,
каким самоотверженным раденьем
далось одно решенье грандиозной,
труднейшей, титанической задачи.
Наперекор сложившейся привычной
консервативной версии убогой
о том, что, мол, великою Победой
обязаны мы славным генералам,
командующим нашими фронтами,
штабам, саперам, ротным кашеварам,
расчетам ПТР, артиллеристам,
танкистам и связисточкам-девчонкам,
штурмовикам, разведчикам, медсестрам
и скромным партизанским ездовым,
им доказать бесспорно предстояло,
что выиграл войну один Полковник.
И доказали.
И провозгласили.
И многих обеспечили работой:
одни его украсили, как елку,
бесчисленными звездами,
другие
в писатели его определили,
а третий — написал его портрет.

То, собственно, была скорей картина:
волна, корабль военный в полном блеске,
на палубе матросы и солдаты,
смотрящие с восторгом и любовью
на человека с мощными бровями.

Вот поглядел бы князь-то одноглазый,
какая подобает полководцу
красивая внушительная поза,
как надобно стоять монументально,
ступив на ящик твердою ногой!

А на ноге полковника — сапог.
Конечно, блеск не тот, но все же, все же...
От сапога исходит почему-то
знакомый запах... но не пошлой ваксы,
нет, братцы, речь, пожалуй, тут скорее
об авторстве,
о творческой манере...

Да и не удивительно, поскольку
ведь сапоги-то, обе эти пары,
(а также — в промежутке — бородавку)
писал один и тот же человек.



АЛЕКСАНДР МАКАРОВ

В Е Ч Н Ы Й З О В

От рожденья зовут нас дали, От рожденья зовут нас веси, Неразгаданные печали, Недопетые кем-то песни. И спешил я на станцию Сельгу Сквозь моршковые рассветы, О рыбацкий сапог мой сельдью Бился месяц, заплывший в сети. И в тайге уссурийской падал У костра на тропе тигровой, И срывалась тропа камнепадом... Жив остался я, разбедовый.	И в карманах рубли хрустели — Загребай прямо целой горстью, И куда бы судьбой ни целил — Я везде был желанным гостем. Но все чаще мне снилось поле За уснувшим отцовским домом, Где в ночи тихо ржали кони И тянуло с гречихи медом... Я присяду, душою светел, У отцовского палисада. И пойму, что на этом свете Больше мне ничего не надо.
--	--



СЕРГЕЙ МАКАРОВ

Ц Е Р Е М О Н О Ч К И

Церемоночки — северные игровые и плясовые девичьи припевки на вечерах знакомств.

Залёточки весенние, Зовут вас в клуб девчоночки: Примите приглашение На наши церемоночки.	Тальянки — неустанные, Припевки — сердцу лестные. Вы — завлекалши званые, Мы — завлекалки местные.
--	---

Наш славен город — Каргополь.	Вы не гнушайтесь, любые,
Но что ж ты плачешь, Олечка?	Взаимным уважением,
Эх, во глазах во карих — боль:	Коснитесь нежной вы струны
Ей ранил душу дролечка.	Пути к любви — единые:
К чему поступки грубые,	Даруйте нам не выстрелы,
Зачем к нам — с унижением?	А — крылья лебединые!

Я З Ы Ч Е С К А Я М О Л И Т В А

Загрюмились ночью выгоны,
Исподлобились до поры...
Из-за рек-лесов, солнце, выгляни,
Покажись из-за гор-горы!

Расплеснется теней сумятица —
С тьмой по-своему потолкуй,
И — прильни к небесам, как матица
Светоносная к потолку!

Видя землю опять отрадную,
Нам в окно, возвещая день,
Лучик ниткою тонкопрядную,
Как в ушкó игольное, вдень!

О Ш И Б К А

Говорят, что у парня простого
Проросло из лопатки крыло.
Он крыла бы дождался второго,
Да смеялось над парнем село:
«Вроде, Фролушка, стал ты горбатым?
Это ж разве опишешь пером!»
Быть чудак постеснялся крылатым:
«Эх, отсечь бы крыло топором!»
И плечистый сосед у оврага
Поспешил на подмогу ему:
«Дай-ка я пособлю, бедолага,—
Несподручно тебе самому!
Не летать нам, кондовым, за взгорья,
Небосвода не пить синеву!»
И крыло, каменя от горя,
Грузно, глухо скатилось в траву...

Я над вешним сырым черноземом
Полевода спросил за селом:
«Что за камень тот — белый, с изломом?»
«Был тот камень когда-то крылом...»

ВИКТОР МАКСИМОВ

* * *

Уж не сон ли страшный позади? —
Ложь на лжи, иуда на иуде...
Что ж никто рубаху на груди
не рванет: «Вяжите меня, люди!..»
Кровью покаянной, как вином,
не зальет скатерку, помирая?..
Что ж она не ходит ходуном
под ногами — мать-земля сырая?..

Стонет вьюга,
скудную слезу
выжимает на желвак сугроба...
Что ж никто не бьется — там,
внизу
медным лбом своим
об крышку гроба?!

* * *

Все, как один! В одном порыве!
Через миры! Через века!
Гремя! Громя! В цеху! На ниве!
В ночи под звук грузовика!
Колеса! Винтики! Колосья!
И даль зовет! И цель одна!..

.....
И как трава на сенокосе,
единогласна вся страна.

КРОВЬ

Боже, сколько крови!
Ручьи,
реки,
Беломоро-Балтийские каналы,
Цимлянские моря
понапрасну пролитой крови...

.....
Господи,
да неужто это
от одного больного гемофилией ребенка?!

Э Т О М Ы

Вот и выдох с ознобом по коже!
И как не было ватной зимы...
«Это вы?» — удивится прохожий.
«Это мы, это мы, это мы!
Наши песни — о воле, как прежде...»
«Чьи мотивы?»
«Свои сберегли.
А умению ждать и надежде
мы учились у зимней земли».

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О О С М Е Р Т И

Вот заключение,
и дата,
и завитушка,
и печать.
И ничего уже не надо:
ни обелять,
ни обличать
с гражданским пафосом и с гневом...
.
Отвоевался наконец
мой не убитый подо Ржевом,
мой не расстрелянный отец.

Э Т О Т М А Л Ь Ч И К

Этот мальчик взрослее не станет —
я-то знаю, я с ним знаком,—
этот мальчик в Афганистане
стал пожизненным стариком.

Этот мальчик собой владеет,
даром что из кусочков шит...
Как лицо у него молодеет,
когда он под наркозом спит.

И С Т И Н А

И восстала из праха Истина —
окровавленная,
с выбитыми зубами.

И пошла по белому свету,
неся в протянутой руке
выбитый следователем глаз маршала Блюхера...

— Нашего полку прибыло! — воскликнул
воскресший Лазарь.
— И пребудет вовеки! — сказал Иисус Христос.
— Аминь! — перекрестились неверующие.



НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ

РОЗОВЫЕ ЧАЙКИ

Не щебечущих пташек,
что букашкам сродни,
помню птиц,
улетавших
зимовать в полыньи,
в ледовитых просторах
находивших пути.
Помню птиц,
у которых
рдело солнце в груди.
А еще что я помню
за прибрежной чертой?
Помню рвавшийся к полдню
чаек крик над водой.
Но не помню,
как ноги
нас несли вдоль воды:
третий месяц в дороге,
третий день без еды.
Ослабевших и лютых,
предрекая финал,
нас голодный желудок

до трясины догнал.
Здесь мы встали на роздых
и, взглянув на мысок,
вдруг заметили гнезда
за щетиной осок.
Яйца хоть и не мясо,
все же — малость тепла,
и липучая масса
в наши рты потекла.
...Мы в сонливость впадали,
а над краем земли —
с криком чайки летали —
улететь не могли.
Все кричали в отчаянье,
все носились кругом...
А потом,
на прощанье,
нам махнули крылом.
И оставил нам Север,
повторяемый в снах,
крыльев пепельно-серых
всепрощающий взмах!

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

У старательского барака
третьи сутки метель метет.
Под окошком скулит собака —
загулявших хозяев ждет.

Так и сыплет снег,
так и сыплет,
так и мечется, голубой...
Пьют хозяева без просыпу:
у хозяев опять запой.
И забыли,
что за порогом,
золотясь угольками глаз,
мерзнет друг их
четвероногий,
выручавший в тайге не раз.
У собак жизнь —
всегда собачья,
и никто не виновен в том...
Озлобленья уже не пряча,
пес коротким взмахнул хвостом.
И к дверям подойдя неловко,
от неистовства став лютей,
начал толстую грызть веревку,
первый раз не боясь людей.
Первый раз,
разъярясь во мраке,
о завалинку опершись,
грыз веревку...
Знать, и собаке
надоела собачья жизнь!



ИРИНА МАЛЯРОВА

* * *

Когда все планы временем разрушены,
Когда полвека ветром унесло,
Я научилась молча слушать душу —
Нехитрое, как будто, ремесло.

Осенним днем законопатить раму...
Мороз рисует белые зубцы...
Я перечту души кардиограмму,
И свежие, и старые рубцы.

О, скольких троп оборвано начало!
Но зримей и надежней ремесло,
Когда все планы ветром раскачало,
Когда полвека вьюгой унесло.

* * *

Не ровен час — увидимся с тобою,
Не ровен час — забуду обо всем.
Останется лишь полоса прибоя,
Дорога, что примята колесом,

И облаков косматые седины,
И молния, сверкнувшая вдали,
И ягоды рябины, как дробины,
Что возле сердца моего прошли.

Через поля раскинутая арка,
В дождинке отражение ветвей.
И в качестве небесного подарка
Твоя ладонь останется в моей.
Не ровен час...

* * *

Посвящается Н. С. Гумилеву

А это ведь еще с Гомера повелось:
Бродяжая судьба, лукавые сирены,
Плеск чаек в небесах и винограда гроздь,
Песчаны берега, и горизонт сиренев.

И мачта, словно гвоздь,
И этот странный гость...
Привязан человек, и призрачна Итака...
И верная жена, и теплой пряжи горсть,
И, высунув язык, по следу мчит собака.

Все будет хорошо! И на душе легко,
Улыбчивый дельфин пловцу подставит спину...
И ждет тебя очаг, и козье молоко
На берегу Земном, который ты покинул.



ДМИТРИЙ МИНИН

Д О Р О Ж Н Ы Й Э Т Ю Д

Закат за тучей бьется алый.
Березам душно. Быть грозе.
Один, как путник запоздалый,
стою на Выборгском шоссе.

Они зывают из кромешной тьмы:
«Ты все прошел, и ты живой. А мы?
Пока твой голос тоже не погас,
прерви молчанье, говори за нас».

Часами не идут из головы
все, с кем рукопожатием недолгим
брatался я на берегах Невы,
Печоры, Дона, Вычегды и Волги.
Я им клянусь, что пусть я устаю —
но пред любым соблазном устою,
что заплачу я воскрешеньем их
за право побродить среди живых...

* * *

В час, когда Вам снится самый сладкий предрассветный сон, выгоняют палкой из палатки тех, кто заключен.	где проходит Ваш досуг ленивый, где который год Вам о жизни грустной и красивой радио поет.
Мы идем с лопатами, с кирками шествием теней железнодорожными путями к насыпи своей.	Труден лагерь северного края... Даже в страшном сне пусть Вам не приснится, дорогая, что сбылось мне!
Крупный дождь сечет нам злобно спины, бьют в лицо кусты, а к подошвам липнут мокрой глины скользкие пласты.	Как наивно то, чем все мы жили... Вы, совсем как я, даже в шутку б не предположили здешнего житья.
И в грязи болотной по колено, пока ночь придет, роем мы, и насыпь постепенно — желтая — растет.	Но, не унижаясь укоризной, ни за что гоним, все приму я, что дает отчизна пасынкам своим.
...Пусть Вам сладко спится, дорогая, в городской ночи, где уютно тлеют, догорая, уголья в печи,	Все запомню, никому не выдам, никаким годам, каждый вывих, каждую обиду, каждый новый шрам.

* * *

Забывчива память, но памятливы сон.
Доносится с койки сдавленный стон.
Бормочет спящий: «Моя ль вина?»
«Время такое», — бормочет он.

Кряхтит, пытаясь вытолкнуть сон,
освободиться от сна.

Вздрагивает
от этих потуг,
вскакивает
в клейком поту...

...Скольким — во всех городах страны —
снятся
такие
сны?



ТАМАРА НИКИТИНА

* * *

Что же это завтра с нами будет?	Что за время? Подскажи скорее,
Что за новая заря встает?	Что за дым над родиной валит?
Тикает будильник, а не будит	Обжигает душу, а не греет...
И уснуть ночами не дает!	Тикает, а такать не велит.

* * *

Мельтешат и торопятся годы,
И попробуй скажи им: замри! —
Легкокрылые боги природы,
Обреченные дети земли.

Может быть, и стараться не надо
Удержать убегающий миг?
Юный блеск соловьиного сада
Разве в ревностной памяти сник?

Осыпайтесь, цветы, на поляны!
Чередою взойдут стебельки.
Каждый дорог — и бледный, и рдяный,
Если сеяли с доброй руки.



С Ч А С Т Л И В А Я

У бывшей лимитчицы Клавы
К погоде ломает суставы:
Опять не прилечь, не уснуть.
Накинув дырявую шальку,
На кухню идет вперевалку,
Глядит в законную мать.

На улице оттепель снова,
А вьюга шумит бестолково,
Размесится грязь — не пролезть.
Наверное, скоро двенадцать.
Пора и в постель забираться:
Будильник поставлен на шесть.

По радио тянут уныло
Дуэтом: «Что было, то было...»
А было у ней, как у всех:
На стройке пылица да стужа,

Лимит
Да ребенок без мужа —
Нечаянный девичий грех.

У строгих вахтеров в опале,
Вот так они с дочкой и спали
На узенькой койке вдвоем.
Да мать из деревни рязанской
Делилась неделей крестьянской:
Картошкой да рваным рублем.

Не зная, что значит усталость,
Работала Клава, пласталась,
Дитя целовала:
«Расти!»
Боялась болезней и сглазу,
В театр не сходила ни разу,
Хотя и москвичка почти.
У бывшей лимитчицы Клавы
Под старость ни денег, ни славы,
Но Клава довольна судьбой.
Квартирку ей дали на зависть,
А к дочке —
Откуда и взялись! —
Пошли женихи вперебой.

И рада лимитчица Клава,
Что дочка при муже, как пава,
И рада цветам во дворе,
И рада нечастой обновке,
И рада горящей путевке,
Что даст ей завком в декабре.

Вот только бы ноги не ныли
Да внуки здоровые были,
А больше —
Чего и желать!
У бывшей лимитчицы Клавы
Морщины, седины, суставы —
Соленого счастья печать.

С М Е Р Т Ь С О Б А К И

Какая огромная давит на сердце вина.
Квартира пуста
И чиста нежилой чистотой.
Очнуться б скорее от этого жуткого сна,
Лохматую морду опять ощутить под рукой.

Над миской со свежей водою замру, не дыша,
Убрать не смогу,
Не смогу ее спрятать нигде.
А вдруг сорок дней горевая собачья душа
Здесь будет витать
И губами тянуться к воде?..

ГАЛИНА НОВИЦКАЯ

* * *

Две свечи —
Две молитвы,
Два взгляда
На окраине ночи глухой.
И Надежды мне
Больше не надо:
Ничего
Не возьму я с собой.

Две свечи —
Две молитвы,
Два взгляда.
Вот и всё,
Что с собой заберу.
Это — высшая в мире
Награда.
Да еще принадлежность

к перу...

Т О П О Л Ь

Не листву растратил тополь —
Растерял свои года.
Вылетает ветер с воплем,
Словно ястреб из гнезда!

Тополь бьет листвою оземь,
Словно шапкой дорогой!
Мол, пощады мы не просим,
Мы перезимует осень!
Нам такое не впервой!



НАТАЛЬЯ НУТРИХИНА

* * *

Я — бабушка пластмассового пупса.
Ему нужна немедленно рубашка,
Нужна сейчас и ни минутой позже,
Иначе мама пупса будет плакать,
Не веря мне, что есть дела важнее,
Чем шить рубашку для ее сыночка.
И я бросаю все дела другие,
Их сделаю я завтра, через месяц,
И даже через год не поздно будет,
А бабушкой пластмассового пупса
Я после никогда уже не буду.

* * *

Ты разбил мою жизнь.
Ты разбил мою жизнь на три части.
Одна — до тебя,
другая — с тобой,
третья — после.
В третьей части живу.
Во вторую попасть не пытаюсь.
Оказаться бы в первой,
где не думала я о тебе.

* * *

Люблю идти на красный свет В густой толпе своих сограждан. Когда нигде порядка нет — Со всеми в ногу,— вот что важно.	Не выбивайся из толпы, И постовой тебя не тронет. Вот в чем залог больших побед И ощущение свободы: Идти в толпе на красный свет, Не отрываясь от народа.
Дорожных строгостей столпы На перекрестке как на троне.	



ИГОРЬ ОЗИМОВ

ПОДВАЛ ПАМЯТИ

Паук плетет у входа сети.
Закрыт подвал, но почему,
Иных времен иные дети,
Мы жадно тянемся к нему?

И, от себя не отпуская,
Стоим, смиряя сердца стук,
А кровельная мастерская
Стучит в подвале — тук да тук.

А нам в глаза летит из мрака
Со шляпкой, сбитой на бочок,
Кафе «Бродячая собака» —
Литературный кабачок.

Да точно ль здесь, в подвале этом,
Еще не меченном бедой,
На откуп отданный поэтам,
Венчался праздник молодой?

И так блистательно и ново
Был взят стремительный разбег,
Что ими сказанному слову
И до сих пор внимает век.

* * *

Им такие давали названия,
Чтоб запомнили мы навсегда:
Площадь Мира
И площадь Восстания,
И — огромная — площадь Труда.

Но порой что-то давнее свяжется,
Обернется иной стороной —
И пустынная площадь окажется
Благовещенской
Или Сенной.

Фонари потускнеют, притушены,
Вдруг потащится конка с моста,
И соборы, что были разрушены,
На свои возвратятся места.

И нелепая мысль беспричинная
Неожиданно вспыхнет в мозгу:
Уж не я ли, душа разночинная,
Через площадь, озябнув, бегу?

КАНАЛ ГРИБОЕДОВА

Он скучает без дела,
одетый гранитом канал.
Он похож на усталую,
добрую, старую лошадь.
На Конюшенной площади
кто-то ее отвязал,
и бредет она мирно
Сенную отыскивать площадь.

Он, бывало, таскал
кирпичи и гранит на спине.
Он не знал выходных
и работал в любую погоду.

Деревянные баржи
толкались бортами во сне.
Подымались дома
и гляделись, как в зеркало, в воду.

Говорят: отдыхай,
и спасибо тебе за труды!
Только как отдохнешь,
если в белую ночь
тараторки
пролетят, разведут
словно бурю в стакане воды,
эти внуки его —
сумасшедшие лодки-моторки.

* * *

Я жил в этом городе вечно, во все времена,
И память о прошлом томит беспокойную душу.
Я помню болота и топкую речку Криушу —
На месте канала когда-то петляла она.

Я в разных обличиях был на устах у молвы,
Я шил паруса для фрегатов петровского флота,
И не оттого ли мне все не хватает чего-то,
Когда я гляжу на пустынные воды Невы?

Я был в этом городе смердом скорее всего,
И рвал в кабаках узловатыми пальцами ворот,
Я камни тесал, и в мучениях выстроил город
И проклял его, и навеки влюбился в него.

Два века прошло — ничего не осталось в горсти.
В солдатской папахе я мчался по лестницам дымным,
Я вырвал приклад, занесенный над зеркалом в Зимнем,
И вазы из царских покоев не дал унести.

Я выжил потом на исходе последнего дня
В промерзшей квартире, в окопах у Невской Дубровки.
Как след от инфаркта, блокадный рубец Пискаревки
С тех пор и поныне горит на душе у меня.

Я тысячью жизней теперь одержимо живу.
Над Финским заливом заря свои крылья простерла.
Я помню о прошлом, но в будущем — дела по горло,
И вечности мало его воплотить наяву.



БОРИС ОРЛОВ

* * *

В июле стог сметал отец
И лег в сырую землю.
Блестит луна, как бубенец.
Медвежьи сосны дремлют.

Отца помянем. По сто грамм
Нальем. Закусим луком.
А стог стоит, как светлый храм,
Над сиротливым лугом.

* * *

Теряли веру в совесть год от года,
Но в горе пели все: «Вставай, страна...»
А в будни становилась для народа
Китайскою кремлевская стена.

Бессовестность страшнее оккупаций,
Не пощадит ни песен, ни стихов.
Прозреньем поздним нам не оправдаться!
Раскаяньем не искупить грехов!

И Н В А Л И Д

Рассыплет молнии гроза —
И волны заблестят.
Он столько видел, что глаза
На небо не глядят.

Идет безмолвно на причал
И палочкой стучит.
Он столько на войне кричал,
Что до сих пор молчит.

1938 Г О Д

Памяти П. Дыбенко

Идет к стене, сутулясь,
Матрос, что Зимний брал.
И обрывают пули
«Интернационал».

Сибирские морозы.
И слепота ночей.
И страшно то, что звезды
На шапках палачей.

Г О Р О Д

Фонарь у подъезда остынет.
Трамвай приползет, словно клоп.
Наверное, скоро нахлынет
На город всемирный потоп.

Живем: каждой твари по паре.
Не город, а Ноев ковчег.

Бренчим у подруг на гитаре.
Приходим домой на ночлег.

Нас город гоняет по кругу,
Изменями души губя.
Кричим — и не слышим друг друга
Молчим — и не слышим себя.



ОЛЕГ ОСИПОВ

З И М А П О Э Т А

Кровавый закат
окрасил природу.
И только гвоздика
лежит белая
на красном снегу.

* * *

Подобрал дворнягу
в телефонной будке.
Табак у меня
вся пропахла.
И привыкла к запаху
одинокости.

Б Л О К А Д Н Ы Й Э Т Ю Д

Ночная бомба
оставила от дома
одну стену.
В каждом окне
безоблачное небо.

ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Старушка
впервые в жизни
пожаловалась:
«Пальто было легче
год назад».



ГЛЕБ ПАГИРЕВ

(1914—1986)

ДОЛГИЙ СПОР

С тех пор прошло немало лет,
больших и малых дат.
Она сказала: «Ты — поэт»,
а он сказал: «Солдат».

И между ними этот спор
тянулся много дней,
а тот чужак и до сих пор
не согласился с ней.

Но где-то все ж пошло на лад,
наметился просвет.
Теперь она: «Поэт-солдат»,
а он: «Солдат-поэт».

ПРИ ВСТРЕЧЕ

«Верись,
не могу переключиться,—
он при встрече жалуется мне.—
Ноет перебитая ключица,
как же тут забудешь
о войне?»

Позовешь к себе,
чайку заварить,
сядешь рядом: горе не беда!
И, глядишь, оттаял друг-товарищ,
раненный войною
навсегда.

СПРОСИТЕ ИХ

«Война, события тех лет
давно расписаны до точки.
И может быть, пора, поэт,
переключаться на цветочки?»

«Да, у цветов хороший сбыт,
но вы меня-то не трясите —
спросите тех, кто был убит,
их матерей и вдов спросите».

НАД СТИХАМИ

Ты прочти только малость,
ты хоть это прочти:
«Нас немного осталось,
нас не стало почти»¹.

Жизнь оплачена кровью —
самой страшной ценой,
а теперь по присловью,
нам пора в мир иной.

Стали взрослыми дети,
и все ближе тот час,
когда вовсе на свете
не останется нас.

¹ Ф. Сухов.

«Раненный войною навсегда...»

Я увидел его в первые послевоенные годы на бульваре улицы Петра Лаврова, где мы жили в одном доме. День был солнечный, теплый; живая изгородь, которую потом безжалостно вырубili, тянулась вдоль бульвара. Я запомнил худощавого молодого человека с высоким чистым лбом, его белозубую улыбку, запахнутый ворот рубашки. И еще — палку, ногу с протезом и укороченную левую руку.

Потом пришли его стихи: суровые, светлые и добрые. А главное — правдивые. И мы, мальчишки, очень гордились тем, что в нашем

доме живет настоящий поэт, который так здорово пишет о войне. Тогда мы еще не знали, что Ал. Твардовский уже написал о нем: «Мне крайне по душе этот голос, серьезное и отчетливое слово, — поэзия, а не игра в нее».

Послевоенная жизнь Глеба Пагирева складывалась трудно. Тяжелые испытания войны подорвали его здоровье, он многократно лежал в госпиталях, знал нужду и боль утрат, похоронил любимую жену. Но при этом развивался его талант, набирал силу поэтический голос. Он был принят в члены Союза писателей, его стихи печатались в толстых

РАД ЗА ТЕБЯ

Я не летописец,
не историк,
а всю жизнь
Истории служу.

Хоть мой опыт
в этом деле горек,
а и тут я
радость нахожу.

В батальоне,
в строевой записке
я в ряду с немногими
стою.

Рад, что ты
нигде на обелиске
не прочтешь фамилию
мою.



«Раненный войною навсегда ..»

журналах, при жизни вышло 12 книг. Вторая жена подарила ему сына, которого он горячо любил. Сейчас Алеша проходит срочную службу в Вооруженных Силах.

Поэтическое лицо Глеба Пагирева мужественно и сурово. Ему удалось искренне и проникновенно рассказать о жизни, о времени, о виденном и пережитом.

Прочитайте сборники его стихов с позиций сегодняшнего дня, с позиций демократии, гласности, и вы увидите, как глубоко и мощно звучит в его стихах тема нравственного максимализма, то, в чем так мы нуждаемся.

С годами его лирика, не теряя присущих ей черт исповедальности и конкретности, становилась все более проникновенной, обретала философский характер. Все резче противился поэт — и не только в стихах — фальши, бюрократизму, приспособленчеству, что далеко не всем нравилось в эпоху застоя и что осложняло его жизнь.

Жаль, что поэт не дожил до наших дней. Жаль также, что его творческое наследие плохо изучено, что при жизни ему не было воздано должное.

Игорь Ознов

АЛЕКСАНДР ПЛАХОВ

* * *

Твой эскалатор — вверх, мой — вниз,
Твой — вниз, а мой — вверх!
Откликнись.
Вскинься.
Оглянись!
Вглядись!
Прощай навек.

Темна дорога — светел путь,
Разлука — только миг,
Но в завтра страшно заглянуть,
Коль к прошлому приник.

Два ветра встречных, два луча,
Мы знать обречены,
Что разлетимся сгоряча,
От немоты черны,

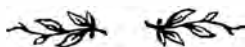
Что коль пути пересеклись —
Им пересечься впредь...
Мой эскалатор — вверх, твой — вниз.
И нам — лететь, лететь.

АТЕИСТИЧЕСКИЕ СТИХИ

Бог — это я. Меня ищи!
В меня уверуй! Верь,
Что стану факелом в ночи,
Приду в часы потерь.

Бог — это ты. К тебе стремлю
Тоску своих молитв!
Ты вырвешь ржавую стрелу,
Когда нутро болит.

Бог — это бог, бог — это мы.
Земной, надземный свет...
К нам кто-то шлет мольбы из тьмы,
А нас все нет и нет.



СЕРГЕЙ ПОГОРЕЛОВСКИЙ

НАШИ ДЕТИ

ТЕЛЕМОСТ

Телемост!	У меня полно друзей
Телемост!	в Дели и в Детройте...
Хоть до Марса,	С папой мне теперь скорей
хоть до звезд!	телемост устройте!
Расстоянье покорить	Хоть и рядом папа мой
здорово умеем —	на планете кружится,
по душам поговорить	побеседовать со мной
с Бонном и с Бомбеем.	все не удосужится...

ПОГОВОРИЛИ

«Время» на диске набрал я, чуть свет:
«Марье Петровне — поклон и привет!
Как вам живется?
Надеюсь, не худо?»
— «Восемь часов четыре минуты».

Звякнул попозже:
«Вы, Марья Петровна,
очень устали уже, безусловно!
Что же на смену вам всё не идут?»
— «Девять часов девятнадцать минут».

Снова звоню:
«Вы, считая минутки,
спать не ложились которые сутки.
Вздремнули бы, Марья Петровна!»
— «Десять часов. Ровно».

КАК В СКАЗКЕ

На земле чудес не счесть:
что у дедушки-то есть! —
очень занимательные
зубы вынимательные.

Вот что смогли изобрести!..
Эх, нам такие б завести!
Жилось бы с ними нам толково:
поел — да и в карман их снова.
И можно драться без опаски.
Вот было б здорово!..
Как в сказке!



НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА

* * *

Кто может жизнь продлить? Кому конец отсрочен?
Кончается январь. Нет снега на дворе.
Всё — повод для стихов, для бормотанья строчек,
Для вздоха по ночам, для всхлипа на заре.

А утром телефон взорвался звонкой трелью,
И голосом беды сказали мне о том,
Что ночью умер друг. Ушел, не стукнув дверью,
И никогда уже не возвратится в дом.

«Как, мальчик?» — «Нет, солдат... Нет, офицер запаса...»
«Но он был молодым!» — «Седым был много лет!»
«Но он ровесник мой из выбитого класса,
Не может быть, чтоб он покинул белый свет!»

Покинул этот мир, где в сумрачные годы
Он по ночам тайком оплакивал отца.
Покинул этот мир, где услышал, что годен
Для маршей и траншей, для смертного свинца.

Покинул этот мир. Разбился, будто птица,
Всей грудью в темноте упав на провода.
Из книги бытия он вырван, как страница.
Тяжело слезой ползет моя беда.

И разлилась беда, как в половодье реки.
Разрыв сердец — увы! — не праздничный салют.
И руки — на груди, и медяки — на веки,
И тусклый ряд наград — на бархатный лоскут...

Как быстро жизнь прошла! Вдруг мальчик стал мужчиной
И хрупким стариком! И подошел к концу...
Редет круг друзей, и жесткою морщиной
Утрата, как резец, черкнула по лицу.

Как ночью ветер выл высоким голошеньем,
И новая звезда в небесной мгле зажглась.
И душу не согреть фальшивым утешеньем,
Что всяк, идущий вслед, светлей и лучше нас.

* * *

И этот прав, и этот прав.
И так увязнешь в острых спорах,
Что спичку поднеси — и порох
Взорвется, превращая в прах.

Ведь мы — взглянуть со стороны —
И там, в том времени далеком,
Своим отмеченные роком,
Все не похожи, не равны.

Не всех корите «старинной»,
Забвеньем стершихся отметин,
Годов тридцатых лихолетьем,
Войной, потом «послевойной».

Да ведь и вы не все годны
Для запоздалого глагола.
Лишь рыбу в бочку для засола
Одной берут величины.

* * *

Туманно, зябко, росно,
Не время трелям птичьим.
Реликтовые сосны
Сосчитаны лесничим.
Мы так живем на свете,
Как нам во сне не снится.
Сосчитаны медведи,
И волки, и лисицы.
Воробышка, синичку
Учтем, настанет срок.
И к каждому яичку
Приклеим номерок.

От умиленья таем
Над счетчиком своим.
После кого считаем?
И от кого храним?
Что любим? Что не любим?
О чем заводим речь?
Одной рукою губим,
Другой хотим сберечь.
«Грядущее туманно»,—
Строчим, пером скрипя.
Прекрасные обманы
Готовим для себя.

* * *

Все можно. Даже горе выжечь.
Ожог терпением зашить.
Когда придет желанье выжить
И вслед за ним — желанье жить.

Поверь затертой поговорке,
Что все пройдет в конце концов.
Но не сдирай подсохшей корки
С незаживающих рубцов.



ВАЛЕНТИН ПОПОВ

ЕХИДНЫЙ СТАРИЧОК

Ах этот ехидный старичок,
похожий на фасолину в очках...

Начинаю потрошить картонную лошадку,
пытаясь понять, что у нее внутри:
«А не влетит?» — спрашивает.

Сажусь за рукопись:
«А напечатают?» — любопытствует.

Возвожу телебашню — он тут как тут:
«А не рухнет?»

Решаюсь строить ракету — мешается под ногами
«А не взорвется?»

Шагаю по Луне — идет следом:
«А не провалитесь?»

...Он так мне надоел,
что я послал его подальше.
«А не стыдно?» — улыбается рядом.

«Стыдно,— говорю,— не обижайтесь,
давайте пить черный кофе».

«А не вредно?» — ничуть не обижаясь,
интересуется ехидный старичок,
похожий на фасолину в очках...

БЕДНАЯ МОЯ

Моя любимая стала уменьшаться,
с каждым днем — меньше и меньше.
«Бедная моя»,— глажу по головке...

Потом и гладить стало нечего —
глажу пустое место, приговаривая:
«Бедная моя...»

Двигаюсь осторожно,
боюсь прищемить, раздавить, наступить.
Купил лупу.
Потом микроскоп.
Потом она стала совсем невидимой. Исчезла.
«Бедная моя»,— думаю в одиночестве,
натушив латку кабачков в сметане...

Вскоре дошли слухи,
что она сошлась с каким-то тоже невидимкой
и они на собственном автомобиле
укатили куда-то в Цхалтубо.
«Бедная моя»,— повторяю, глядя на фото,
где она была человеческого размера...



ВЛАДИМИР ПРИХОДЬКО

СУДЬБА

...И захотелось верности
Странному чудаку:
С будущим — откровенности,
С прошлым — не впасть в тоску.

Всё поделил он поровну.
Взвесил судьбы предел.
И на четыре стороны
Пристально поглядел.

В прошлом — друзья покинули
И предала жена.
В будущем — душу вынули,
Слишком была видна.

Слева — кресты родителей,
Справа — печаль детей.
Рядом — соседи, бдительно
Ждущие злых вестей.

Крикнул он в поле-полюшко:
«Я о тебе радел!..»
Голос его, как перышко,
В сторону отлетел.

Вот оно — одиночество
Дней и ночей пустых.
Грянуться оземь хочется.
Грянулся — и затих...

Чувствует, руки нежные
Гладят по волосам.
«Кто ты?» — воззвал с надеждою
К пасмурным небесам.

«Кто ты? — промолвил тише он,—
Жизнь или смерть моя?..
Кто?..» — И в ответ послышалось:
«Родина я... твоя...»



НИКОЛАЙ РАЧКОВ

ПЕЛАГЕЯ

Ой ты, ягода морошка,
Хороша ли — не скажу.
У осеннего окошка
Рядом с грустью посижу.

У окошка, у заката,
Где веселых песен нет.
Вон с авоськой небогатой
Бабки вещей силуэт.

Низко сгорбленные плечи,
Просветленное чело.
«Пелагея, добрый вечер!»
Отвечает: «Рупь кило...»

Смех и грех. Кричу — не слышит.
Улыбается без слов.
Говорю: «Ванюшка пишет?»
Отвечает: «Нит силов...»

Семерых она взрастила
В неизбывной доброте.
Тихо лоб перекрестила,
Прошептала: «Слава те...»

И опять: «Ну, дай те боже...»
Вот ее пропал и след.
...Эти старые калоши,
Этот плюшевый жакет.

Эти окна сельсовета
Да в бурьяне колея.
Эта жизнь — комочек света
В грозной бездне бытия!



СТАРАЯ ЦЕРКОВЬ

Как жутко в проломы на небо глядеть,
Где зимней зари колокольная медь.

Как странно: в далеких и дивных годах
Здесь мама стояла со мной на руках.

Со стен, как положено, в нимбах золотых
Смотрели крестьянские лики святых.

Потом здесь колхоз оборудовал склад...
Лишь ветер на ржавых решетках распят.

Лишь трещина врезалась в стену, как шрам.
...Прости, кого сможешь, поруганный храм!



ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР

ПРОЩАНИЕ С ФОНТАНКОЙ

Умер буйный Луспекаев.
Умер тихий Копелян.
На глазах моих растаяв,
вышли в вечный океан.

И во времени пространном,
узнавая те миры,
на театре духов званом
отказались от игры.

Не ища приспособлений
и не дорожа трудом,
их задумчивые тени
посещают этот дом...

Так и мы, уйдя в молчанку
у гранитных берегов,
станем навещать Фонтанку
и смотреть с колосников,

что идет на нашей сцене,
кто пришел на смену нам
и каких еще решений
не хватает временам...

ГАСТРОЛЬНЫЙ АВТОБУС

Случай напомнил гастрольный автобус в загранке,
толк о покупках, галдеж в запечатанной банке;
едем, стяжав на сегодня прощальную славу,
едем, себя не забыв и представив родную державу.

Что за окном? Аргентина? Прекрасно. Но в этом ли дело,
если окончена пьеса, а юность давно прогудела.
Ах, чемоданы, баулы, коробки, колесные сумки!
Как нам спастись от торгово-промышленной чумки?..

Случай напомнил веселое наше начало,
в нищей общаге и койки для счастья хватало,
кочечки узкой, с двойною нагрузкой,— не так ли? —
взятой со сцены, со списанного спектакля.

Счастье мое, утаенное рыжее счастье,
сколько булавок и шпилек терялось от страсти
в кочечке узкой,— спасибо на том коменданту! —
выданной ради любви, с уважением к таланту...

Случай напомнил разлуку, последний чинарик,
связку тяжелых ключей и дежурный фонарик,
ночь в одиночку на сцене огромной, пустынной,
бедного принца и Призрака образ полынный.

Что за окном? Будапешт или снова Варшава?
Слава ли ждет или яд на клинке и расправа?
Кто там за всех распинался и лез в одиночку?
Гамлет? Ну, что же... Продать ему мебель в рассрочку!

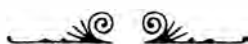
Все, что мы в будущем купим, урвем в настоящем,
в тесную ямку с собой ни за что не утащим.
Только страданья и радости дым драгоценный
даст нам в рассрочку высокое торжище сцены.

Что за окном? Неужели Япония? Чудо!..
Все-таки жаль, что автобус уходит отсюда!..
Ах, аппараты, транзисторы, куртки, системы!..
Жаль, что ветшаем, и жаль, что износимся все мы.

Случай напомнил семейку, любимую труппу,
ту, что сегодня по мне пробежит, как по трупу,
ту, что не скоро заметит, что место — пустое,
станет замену искать, опасаясь простоя.

Ах, дорогие мои, приоткройте жестокую дверцу,
я соскочу на ходу, мне свобода по сердцу,
и помашу вам рукой, равнодушие прощая,
золото строчки на занавес вам обещаю...

Ах, дорогие мои, не спешите найти мне замены,
некем меня заменить, я вжился и впечатался в стены,
в тайные ниши вошел, в зеркала окунулся...
Я вас любил, а когда уходил, оглянулся...



АНДРЕЙ РОМАНОВ

И С П О В Е Д Ъ

В коммунальном раю,
где за шторой шустрила Европа,
между углым диваном
и письменным детским столом
астматический фикус
в ладоши упругие хлопал,
коль на заднем дворе
шли кусты и сарай на слом.

Правда.
Она и осталась.

А то возвышенное,
Одухотворенно вздымающее руку,
Где оно?
Красивое, оптимистическое, крепкое,
Как железобетонный пионер на клумбе,—
Где оно?
Ах!

Что осталось?

Стою распрямившись.
В лицо —
Трезвый утренний ветер.

ПО Д Ч И С Т Ы М Н Е Б О М

А садом вчера	Занемели руки —
Бежала вода.	А рук-то нет.
Заболели ноги —	
А ног-то нет.	Почем я знаю?
	Вот дождь идет.
«Как тебя обнять?» —	Идет и плачет —
Кричит трава.	А глаз-то нет.

В Ы Б О Р

...Борись, шуми, витийствуй, прекословь —
И все-таки: возможно ль жить без гнета?
Давленье снимешь — закипает кровь
И выделяет пузырьки азота.

Возникнет зуд в костях и в мышцах боль,
Расстройство в мыслях, жжение в гортани
И тьма в глазах. Свобода? На, изволь —
Но вольно ли тебе на воле станет?

Отдашь покой, отдашь порой и жизнь.
А не отдашь — так потеряешь душу.
Свобода? Да, свобода! Брат, держись —
Мы, рыбы, завоевываем сушу.



МИХАИЛ САЗОНОВ

НА КОЛЫМСКОМ ТРАКТЕ

Разорвана рекою переправа.
Тюрьме не удалось
Уйти в тайгу.
Опутанные проволокой ржавой
Остатки стен стоят на берегу.

Здесь в лихолетье
Столько глаз угасло!
Тяжелые, как приступы тоски,
Тюремные решетки, людям назло,
Ломали солнце, рвали на куски.

Тут, невинных, много нас убито.
И вот расплата.
Жизнь, она права.
Фундамент казематов — места пыток
Корнями разрушают деревья.

Им, вековым,
Понятен гнев народный.
Сама природа с нами заодно.
Им хочется с лица земли свободной
Стереть скорее черное пятно.



ИРЭНА СЕРГЕЕВА

С Н Е Г А

Не могла наглядеться на эти снега,
злая стужа меня не пугала.
Все роднее с годами метель и пурга,
свет январского дня вполнекала.

К изначальной суровости тянется глаз,
расписную не ищет обнову.
Наболевшее сердце послужит не раз
белоснежному русскому слову.

Д В Е Д О Р О Г И

И остались в полях отчизны
две дороги военных лет:
что зовется Дорогой Жизни
и...
что вовсе названья нет.

* * *

Тот, кто теряет ноги,
может на скрипке играть.
Тот, кто теряет руки,
может полы натирать.
Может лежать спокойно
тот, кто теряет жизнь.
Тот, кто теряет совесть,
может спокойно жить?

НА ГОРОДИЩЕ

Этот город тем и дорог, что судьбою не храним.	Дым столетий... Камни эти будто кровью налиты...
Ты — поэт, а я — историк, мне не горек этот дым.	Все оплачено на свете. Отчего же плачешь ты?



ЮРИЙ СКОРОДУМОВ

ВОЕННЫЙ ХОРЕЙ

* * *

В воскресенье дедко помер,
И пришел сосед-горюн.
Подивился: вот так номер.
Так сказал — и стал угрюм.

Помер дед — и вся беседа.
Речь была бы недолга,
Да осталась после деда
Деревянная нога.

Незатейливая штука,
Дед на ней тужил, да жил.
Укоряла бабка внука:
«Что ж ты в гроб не положил!»

Нынче старая болеет,
Внук у бабки редкий гость.
До сих пор в углу белеет
Та березовая кость.

За порогом темным — сени.
Что там в темени — бог весть.
Смотрит в сени, в царство тени,
Чует бабка: кто-то есть.

Говорит, хоть еле дышит:
«Я помру — ничья вина.
Вот нога — ее кто спишет?»
— «Я спешу».
— «Кто ты?»
— «Война».

* * *

Срезал в поле он тростинку,
И подул, и загрузил.
Золотую паутинку
Синий ветер подхватил.

Было все простого проще,
Но услышали окрест,
Как откликнулся из рощи
Птичий маленький оркестр.

А мелодия игралась,
Тек по камешкам ручей.
Но однажды что-то вкралось
В эту суть простых вещей.

Может, шел знакомый дядя
На какой-то сабантуй,
Дал трубу свою, не глядя,
И сказал: «Сильнее дуй!»

И легла труба на плечи,
И свернулась в два кольца.

Повела труба далече
Несмысленного певца.

Паутинка золотая
Не заденет по лицу.
Полковая медь литая
Громыкает на плацу.

Медь вибрирует упруго.
Капельмейстер входит в раж.
Барабанной шкуре туго —
Взвод играет «Встречный марш».

Отпоют свое литавры,
Отчеканят шаг полки.
Он уходит из казармы
И садится у реки.

И печаль свою большую
Тихо выдует в трубу.
Взял тростинку он смешную
И пожал свою судьбу.

* * *

Смерть скосила — не спросила,
У кого кого взяла.
Бабка Фрося голосила —
Всю деревню жуть взяла.

Голосила бабка Фрося,
И крестили в избах лбы.
У меня с тоски волосья
Поднимались на дыбы.

Вот уж месяц встал, как сторож.
Бабка выла, я внимал.
Мировой войны заморыш,
Много я не понимал.

Не кори, что был я возле
И не плакал, — не кори.
Говорят, я будто после
Не смеялся года три.



МИЛИЦЕЙСКАЯ ЛЮБОВЬ

Регулировщик полюбил регулировщицу,
регулировщица — регулировщика.
Он бы и рад ее — в березовую рощицу,
а у нее горит от нежных снов щека.

Они стояли на соседних перекресточках,
друг другу подавали знаки жезлами,
а у него погоны были в звездочках,
а у нее набочки железными...

Любить не воспрещается — пожалуйста!
Но шли бы лучше в рощу или степь они.
Любовь эгоистична и безжалостна.
Но, граждане, не до такой же степени!



АНАТОЛИЙ СОРОКИН

ПОЛНОЛУНИЕ

Теплый мрак
 свернулся хлопьями
 в колючем покое луны.
Бойтесь полнолуния на окраине сердца!
 Бойтесь полнолуния!

Обессиленные вихри
 оранжевыми жалобами
 уснули в горле у птиц.
Бойтесь полнолуния на пороге рыданий!
 Бойтесь полнолуния!

Хвойная оторопь леса
 живет заклинаниями троп.
Бойтесь полнолуния у одиноких столбов!
 Бойтесь полнолуния!

Обнаженная нежность хрустит
 под дремучей пятой бурелома.
Тополиное небо
 жуют чердаки.
Страдание?
Нет,
 это вздохнула береза.
А пока бойтесь полнолуния
 у журавлиных колодцев!
Бойтесь полнолуния.

И Е ЗА В Е Л Ь

Не стать мне юношей,
Иезавель,
А пламенеющие кораллы —
это пальцы мои.
И задумчивость созревающей яблони
теплится в небе нежности,
Иезавель.

Падает тело в тишину смородины,
в зарево эшафота,
И горло минуты сопротивляется
обвалу наготы.

Падает... Падает...
Верно,
Как и то, что не стать мне юношей, Иезавель.
Я смотрю в глаза твои:
соколы без повязки,
Перезвон одиночества.
Нежно... Оледенело...
Я смотрю в глаза твои:
Скитальцы теряют короны,
тернии обнажают дыхание,
А на коленях твоих... На коленях...
О!..

Но не стать мне юношей, Иезавель.
Косноязычие ветра
и зарифмованные руины
Равны в фиолетовой скорби колодца,
Куда ты вернешься
в поисках воды,
Иезавель!

Ганг прольется на волосы мои,
и они станут белыми,
А низвержение тумана не сдержать,
Только крыло,
Только крыло
из ободранной поцелуем щеки.

Но не стать мне юношей, Иезавель.
Иезавель.

Когда на празднике лотоса
колибри радости
Поднесут мое безумие
к губам твоим

И белые змеи
почувствуют мед
на кончике языка,
Когда кресты, уронив свои жертвы,
уйдут в опухалы желаний,

Даже тогда, когда я стану ледяным блеском
твоей отверженности,

Даже тогда!
Даже тогда
Не стать мне юношей, Иезавель!
Не стать!
Иезавель.



ВОЛЬТ СУСЛОВ

* * *

Улицы меняют имена.
Просто!
Словно вывески меняют.
И уходят, тают, исчезают
Старые, бывшие времена.

Все на месте вроде бы: завод,
Магазин;
В садах желтеет осень...
Тот же город — и уже не тот,
Что-то перестроил, снес, отбросил...

Память, что ль, короткая дана
Выросшим в сплошном моторном гуле?
Все — вперед! Скорей!
Не потому ли
Улицы теряют имена?

Помню: на Введенской рухнул дом,
Бомбою прошитый до подвала,
Дома нет.
И улицы не стало.
Улицы — потом уже, потом...

Дом тогда смело взрывной волной.
Раненых отправили в санбаты.
Дома нет — война тому виной.
Улицы — мы сами виноваты.

КАБИНЕТ

Как же это? Что же это?
Из такого кабинета
Выселять в расцвете лет?!..
Стол на месте, кресло, люстра...
А под люстрой в кресле — пусто...
Никого, представьте, нет.

Все как было в кабинете:
Солнца зайчик на паркете,
Календарь перекидной...
И, один важней другого,
Ждут начальственного слова
Телефонов целый строй.

Ждут — вернется он,
Возникнет!
Да как крикнет!
Да как рыкнет!
Все поникнет перед ним.
Сколько времени промчалось,
Пять портретов поменялось —
Он сидел неколебим!

А сегодня вроде нету...
Не сберег авторитета?
С магистрали сполз в кювет?
Говорят, что был он вреден...
Снят?
Ну что вы! Переведен.
У него в соседнем доме
Нынче новый кабинет.

НОВЫЙ ОРАТОР

С трибун
крикун
кричит как заводной!
Громит!
Клеймит!
Приказывает строго!
Одна беда:
нет мысли ни одной...
Зато
единомышленников много!



Н О В Ы Й Н А Ч А Л Ь Н И К

Все говорили:

«Наш начальник — дуб!

Он неотесан, толстокож и груб!»

Убрали.

И уже который день

Все говорят:

«У нас начальник — пень!..»



НИКИТА СУСЛОВИЧ

(1935—1986)

К А Ю Т Ы

...А сколько их

встает передо мной —

От узких бронированных клетушек,

Зажатых между дизелей и пушек,

Притертых к борту низкою волной,

До вскинутых в надстроечную высь,

Одетых в пластик,

высланных коврами...

Я после вахты

в них входил утрами —

Мне все каюты по душе пришлись.

На лайнере в пятнадцать тысяч тонн,

На тральщике длиной в пятнадцать метров,

Омытом нашей молодости ветром

И с грустью вспоминаем потом.

Я здесь прописан, я сюда влеком

Не рифмой, не газетною заметкой,

А каждым нервом, мускулом и клеткой,

Пульсирующей жилкой над виском.

Ведь я служу на флоте не за страх,

А за живую вахтенную совесть

И тридцать лет одну и ту же повесть

Пишу в каютах, а не в номерах.

И дай мне бог, отведав жизни всласть,

Под реквием бессмертного прибора

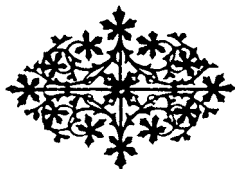
Лицом вперед когда-нибудь упасть...

И палубу

услышать под собою!

* * *

Горизонт промок с головы до пят,
Но с полей туман подняться спешит.
Как борта, в непогоду стены не спят,
Словно мачты, сосны к утру скрипят,
Штормовой тревогой восток прошит.
То не поезд промчался, к Москве спеша,
Не турбины взметнули звук за собой,—
Это моря распахнутая душа...
Слышишь, волны встают, тяжело дыша,
И на берег выбрасывается прибой...
Перedelкинский дождик стучит в окно,
Подмосковная осень поет о своем.
Я на суше гостем живу давно,
И давление крови моей равно
Лишь давлению моря в сердце моем.



«А моря мне не хватало..»

волнах не отыщешь ни меток, ни знаков, вот граница, а море не скажет о ней... Этот синий простор — он везде одинаков, но на севере флотская служба трудней...»

Он уже крепко стоит на земной тверди, которая кажется ему корабельной палубой, он удивительно мускулист и полон светящейся радости душевно здорового человека, и трудно поверить, что позади у него блокадное детство, неуютное отрочество, ранняя рабочая закваска и вдохновенная пора курсантской юности с первыми выходами в Море и в Поэзию.

А потом будут флот, незабвенная Балтика, все моря великой страны, заочная учеба в Литературном институте, поэтическая и морская тревога, много несправедливости и недоброжелательства, много счастливых познаний и откровений, жизнь, отданная Поэзии и Морю, жизнь, сделавшая его, Никиту Сусловича, живым и по-настоящему современным поэтом.

Анатолий Краснов

ДМИТРИЙ ТОЛСТОБА

* * *

Вот и выбрал дорогу короче
до родных покосившихся мест.
К каждой будке «кирпич» приколочен
и наклеено слово «объезд».

Стой, родимый, бетон заливают.
Одевают планету в огни.
В каждой дырке ветра завывают.
В твой стакан залетают они.

Шар земной — голубая прореха —
продолжает и в космосе глеть.
На телеге его не объехать.
Самолетом не перелететь.

Вот и выбрал дорогу короче.
Поднимай обвалившийся крест.
Поправляй золотистый комочек...
Бог не выдаст, и глина не съест.

* * *

Молча корни перерубали,
чтоб деревья скорей упали.
Грязь хлестала из-под корней.
И, треща, подавались корни.
Человека работа кормит.
Чем паскуднее, тем верней.

Как бы за день ни уставали,
все равно до зари вставали.
Над огнем закипал кулеш —
мутноватый змеинный супчик.
Доскребайся до дна, голубчик,
Пополам с комарами ешь.

И опять голубые тросы
заводили под грудь березы,
оплетали ее тоску.
Мы качали — она качалась.
Деревянная жизнь кончалась.
Заработали по куску.

На рассвете ушли с кусками.
Но недолго куски таскали —
разошлись по рукам куски.
И казалось, когда проспался,
что и сам на куски распался.
На поленья, сучки, бруски.

СУДЬБА

Все обрыдло — дела, гульба.
Вышел из дому по грибы.
На пороге стоит судьба.
Мрачен взор у моей судьбы.

Что ей надо, моей судьбе?
Я спокоен как бог с утра.
«Ты зачем?» — говорю. «К тебе.
За тобой, — говорит. — Пора».

Прикрываю плотней жильё,
но гляжу на нее без зла.
Я иду подбирать свое,
и она за своим пришла.

И не ночью пришла, а днем.
Это надо бы счесть за честь.
Говорю ей: «Ну что ж, пойдём.
Лишний ножик в корзине есть.

Ты безбожна, а я крещен.
В каждой жилке горит руда.
Мы посмотрим с тобой еще,
кто кого заведет куда.

Бабка в финской лежит земле.
Мать на кладбище Южном спит.
Потому что в моей семье
почитали и жены спирт.

Не с того загигать конца —
это нашей семьи дела.
Я не знал своего отца.
Ты давно у него была?

Брат на жесткой сидел скамье —
подвела под Указ струя.
Только все же в моей семье
главный выродок — это я.

Я не гад, не завмаг, не тать.
Сам себе я сыскал узду.
И не надо меня хватать,
если я по грибы иду.

Может, я и не пьян с утра
по причине простой такой,
что погибла одна сестра
и повесился брат другой.

Ты поди позвони в ОТиЗ
вашим паркам-бухгалтерам,
и найдется еще артист
в Вологодском театре драм...»

Говорил таковы слова,
вытираючи пот со лба,
и ворочалась, как сова,
на плече у меня судьба.

Видно, вспомнила времена
те, когда молодой была,
и колючие семена
выдирала из-под крыла.



ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

ГОЛОС ИЗ КНИГИ «ПОЭТЫ 1880 — 1890-х ГОДОВ»

Мы поэты эпохи застоя. От безвременья нечего ждать. Наше дело ведь было простое: Обывателя слух услаждать.	В предисловии четко все это Обрисовано, разъяснено. Но, какие ни есть, мы — поэты, И, какое ни есть, мы — звено.
Ублажать его словом красивым, Повторяясь притом без конца, Где-то мистикой, где-то надрывом Заскучавшие трогать сердца.	Не случайные мы, не чужие И не пасынки этой земли. Мы дышали, мы пели, мы жили И под пеплом огонь пронесли.

К ВОПРОСУ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УЛИЦ

Есть меж прочих кампаний такая кампания,
Чтобы в наш обиход поскорее вернулись
Исторические, корневые названия
В нашем веке переименованных улиц.

Дорогие пере-переименователи!
Продолжайте усилия ваши, утroyте!
Я за вами последую в том же фарватере,
Только двух моих улиц вы все же не троньте.

Знаю, помнят мальчишку блокадного, слабого
Да и послевоенного помнят подростка
Ленинградские улицы эти: Желябова
И соседняя улица — Софьи Перовской.

Хоть, как вы, и начитанный я, и наслушанный
О событиях давнишних, о прошлых столетях,—
Все же я не с Большой и не с Малой Коноюшенной:
Я за хлебом стоял не на тех, а на этих.

Ведь и я — не какая-нибудь инфузория,
Моего достоянья меня не лишайте:
Что здесь было со мной — это тоже история.
Вот не будет меня — как хотите, решайте.

ПРЕМЬЕР

Нелегко человеку быть первым в Союзе.
Без предвзятости вспомним хотя бы того,
Кто учил нас любви к золотой кукурузе
И с Гагариным вместе справлял торжество.

Он добром начинал: развенчаньем тирана,
Ликвидацией каторги под Воркутой.
Посещая охотно различные страны,
Удивлял прямотушием и простотой.

Сняв башмак, молотил по трибуне в Нью-Йорке.
В Бирме плыл на увитом цветами плоту.
Поскользнулся на живописи, как на корке
От арбуза —

и начал

терять

высоту...

Но еще постоял у командного пульта,
А вокруг продолжал, пародийно почти,
На развалинах разоблаченного культа
Новый культ как ни в чем не бывало расти.

Широко подавалась улыбка с экрана,
Вспоминались подробности прожитых лет,
И порхала прилежная кисть Налбандяна,
Для веков создавая парадный портрет.

От приветствий и откликов пахло елеем,
И все чаще и чаще стучало в мозг:
Неужели иначе мы впрямь не умеем
И вертеться обязаны в этом кругу?

День пришел — как отрезало. Сразу. Навеки.
Где кино? Где портрет? Не найдешь и следа.
Лишь в заштатной какой-нибудь библиотеке
Невеличку брошюрку найдешь иногда.

Так проходит мирская, вы скажете, слава!
Вспоминать ли сегодня, что было вчера?
Только нет у живых на забывчивость права —
Ничего не забудем: ни зла, ни добра!



РИЗА ХАЛИД

ИЗ РАССКАЗОВ АХМЕТ-АХАЯ

Как наш Ахмет-ахай сумел сказать,
Пожалуй, лучше ни за что не скажешь:
«Осла к чинаре можно привязать,
К зубам язык болтливый не привяжешь!»

Во всем разобраться весьма мудрено,
Но голосу мудрости внимлю:
«Папаху на небо закинь, все равно
Она возвратится на землю!»

При солнце плащ хвалить ты подожди,
Хвали его, когда пройдут дожди.

Узнай же об этом, глупец молодой,
Что глупость живет по соседству с бедой.

Когда тебе трудов своих не жалко,
То шилом двор мети, а небо меряй палкой.

Как ни была бы гора высока,
Где-то тропинка есть наверняка.

Дружище! Если ты горяч,
Все ж не теряй ума.
От кошки лестницу не прячь:
Ей ни к чему она!

Орел, упав, сломал себе крыло,
И утверждал, что недругам — назло!

Изрек Ахмет-ахай: «Скажу вам, между
нами,—
Я слышал, как в Мисхоре говорят:
Коль плов чужими наварил руками,
Не сетуй, что его чужие рты едят».

— Сосед, что хмуришь лоб?
О чем твоя забота?
— Я вижу, дым идет,
горит, наверно, что-то!
— Давай гасить, земляк,
а то огонь займется.
— Нет. Не могу никак:
мутна вода в колодце!



* * *

Все: тусклость времени и полноцвѣтье —
Лишь буквы разные одной строки.
Как электрички, разбегаются столѣтья,
Тысячелѣтья — как товарняки.

И пусть колеса простучат вагонные:
Да будет вечно здравый смысл в честі!
Да будут стрелочники в жизнь влюбленными,
Чтоб стрелки вовремя перевести!

* * *

То непогода, то распогодится,
И застучат капли с перезвонами,
Весна, как начинающая модница,
То белое примерит, то — зеленое.

Березы встанут в хоровод, как люди.
И снег стряхнет с моучих плеч сосна.
И первый гром из тысячи орудий
Салютом грянет в честь тебя, Весна!

* * *

Золотою булавкой приколото
Солнце вешнее в небесах.
Я пойду и спрошу орнитолога,
Что за птичка кричала в кустах.
Как пронзителен, как сиротлив
Голосок ее был, тоньше волоса...
Это жалоба или призыв?
Нет в природе напрасного голоса!

*Переводы с крымско-татарского
С. Лавского*



ВАДИМ ХРИЛѢВ

С У Д А К

Баба тащит судака,
Увальня пудового,
А над нею облака
Цвета омутового.

Из корзины хвост торчит,
То не медь, а платина,
Впрямь по камушкам стучит
Целая лопатина.

Баба охает, но прёт,
Молодая, ладная.
Завтра — свадьба, завтра — мед,
И гармонь трехрядная.

Эх, судак, судак, судак,
А судьба — аршинная,
Чешуина, как пятак,
Крупная кажинная.

Отгулял, отбороздил
Заводи озерные.
Лопухами опустил
Плавники проворные.

Разлюбезный судачок,
Голова толковая,
Угодил, как дурачок,
В сети поплавоквые.

Не порвать тугую нить,
Ячею узорную.
Судачихе слезы лить,
Грусть свою озерную.

Баба прет по лебеде,
А глаза — колючие.
Лодки рыщут по воде,
Как собаки злючие.

За плакучим ивняком
Ох вода качается...
Знать, с последним судаком
Озеро прощается.

* * *

Отведав горючей житухи
И вздох уронив неспроста,
Из Витебска едут старухи
В Печору — святые места.

Все пятеро бедно одеты,
На доброе слово легки,
И, словно бывлые рассветы,
Белеют платков узелки.

Сквозь сумрак расплывчатый, редкий
Мелькает лесов окоем.
Старухи сидят, как наседки,
Толкуя о чем-то своем.

А поезд сквозь сумерки лупит.
Давай же, лупи веселей,
Где эхо барахтаться любит
Среди придорожных полей!

Вагон — как железная лодка,
А небо — подобием гряд.
Старухи притихшие кротко
На редкие избы глядят.

А ведь запевали, бывало.
Когда зачинали артель,
Но звонкую силу металла
В полях растрепала метель.

Давно одиноки старухи,
А горюшка — целый ушат.
Их руки, как хлеба краюхи,
На темных коленях лежат.

Уж тени, шарахаясь косо,
Уходят задумчиво прочь.
Одни лишь грохочут колеса,
Волнуя глубокую ночь.

Как прожито мало и много.
Сосните! А им не соснуть.
А мне почему-то тревога
Терзает усталую грудь.

Гляжу до мучительной рези
На избы... Но полночь уже...
А мы все твердим о железе,
А нам бы твердить о душе.



ОЛЕГ ЦАКУНОВ

* * *

«Летний...

Зимний...

Русский...» — говорим.

Ничего не надо пояснять,
Если невским берегом одним
Эти три эпитета связать.

Словно от волны, волшебной здесь,
У названий смысл особый свой.
И в звучанье «сфинкс» — прохладность есть
В светлом сочетании с Невой.

Стрелка...

Парапеты...

Острова...

И мосты...

И графика оград...

Без Невы — отдельные слова,
А с Невой — любимый Ленинград!

Л Ы Ж Н А Я П А М Я Т Ь

А вместе с горы — удержишь!
Ну, за руки, рядышком стали!
Опять загадали на жизнь,
И — съехали, и — не упали.
Так будет бесстрашным наш путь,
Как этот — с вершинного неба.
Летим — и сжимается грудь
Во вспышках

лучистого

снега.

Как фото.

На память.

С тобой.

Наш полдень — отчаянно-чистый
С лесною лыжной голубой,
С равнинным простором искристым.
И символом кажутся мне
Два белых кольца реактивных,
Коснувшихся там, в вышине,
Над праздником флагов спортивных.
Смеемся!

Летит

по холмам

Влюбленное

юное

эхо.

Когда-то еще — по домам,
Когда-то — совсем не до смеха.
Когда-то...

Да только сейчас

У нас — ни пылинки сомненья.

И нету защиты от глаз,

И нету от счастья спасенья!



АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ

КОЛОДЕЦ

От зари до заката,
Худошав и высок,
Рыл он землю. Лопата
Поднимала песок.

Все рыжей и рыжее
С каждым выбросом он,
Все свежей и свежее,
Холодком наделен.

И под землю, казалось,
Вдруг ушел землекоп.
Но лицо показалось,
В потном бисере лоб.

Он стоял, улыбался,
Не сказав ничего:
До воды докопался —
До начала всего!

* * *

Все чаще и чаще
Тоска посещает меня —
И в темной ночи,
И среди светоносного дня.

Откуда берется?
Не знаю и знать не хочу.
Настигнет в дороге —
Замедлю шаги, помолчу.

Как путник грозу,
Пережду и шагаю опять.
Друзья, научитесь
Тоску из себя прогонять.

Коль кистью работаешь —
Сразу хватайся за кисть,
Стихи сочиняешь —
За них непременно садись.

Учитесь по ней
Ударять, как боец по врагу...
Всю жизнь я учусь —
Научиться никак не могу.

НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА

Не знал,
Что столько писем
Самых разных
Похоронил я
У себя в столе:
И деловых, как водится,
И праздных,
И даже самых
Нежных на земле.
Я их писал
На фронтовых дорогах,
У камельков
Военной кутерьмы,
В тоске по дому,
В горестных тревогах,
Под знойным небом
И среди зимы.
Я их писал
Родителям,
Знакомым,
Той девушке,
Которая меня
Лебяжьей ночью
Перед спящим домом
Коснулась первой
Золотинкой дня.
И вскоре проводила
В неизвестность,
Вслед посмотрев
Наивной синевою.

И как бы рядом
Ни взрывалась местность —
Я их писал
Над Волховом,
Невой,
Над голубиной дымкою
Дуная —
Во всех краях,
Куда, войной гоним,
Я прибывал,
Заведомо не зная
Своей судьбы.
Дыханием одним
Проникнуты
Те письма фронтовые.
Хранят они
И громкие слова,
Но все такие
Нужные,
Живые
Для скорби,
Для любви,
Для торжества.
А письма деловые?
А иные,
Что негодуют,
Верят в правоту,
Сражаются
За радости земные,
Оберегают
Жизни красоту?

И это все	Я понял:
В захороненье числа,	Неотправленные письма ---
Но прочитав	Святая правда
Листки до одного,	Сердца моего.

* * *

Чем бы мир ни болел,	Перемены ли в жизни,
Что бы ни было в нем:	Или просто беда
Умирает ли поле,	Вдруг ворвалась в дома,
Полыхая огнем,	Обожгла города,—
Солнце светит ли,	С малых лет я усвоил
Золотом землю покрыв,	Навсегда, до конца:
Иль не понят любви	Оставайтесь людьми,
Самый добрый порыв,	Не меняйте лица!



ВЛАДИМИР ШАЛЫТ

СОВЕСТЬ В ПУСТЫНЕ

Небо закрыто деревьями сна.
Сад на песке умирает от жажды.
Совесьть в пустыне, кому ты нужна?

Слышу опять разговоры песка —
Вот он лежит, умирая от жажды,—
Так от любви умирает тоска.

Что я отвечу? Любовь и вражда
Были на свете и стали песками.
Совесьть в пустыне, кому ты нужна?

Совесьть в пустыне, кому ты нужна?
Вот я уйду, и закончится повесть,
Но, как и прежде, под небом одна
В каждой песчинке останется совесьть.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Боковое стекло, ты безлико,
Слева, справа — тоска верениц...
Ветровое стекло — это книга,
Это веер горящих страниц!

Вижу: лошади, зайцы, собаки
Перекрашены музыкой фар,
Перекошены лица и знаки.
Внешний мир — разноцветный пожар!

Ветровое стекло — это ветер
Убегающих прочь площадей.
Ветровое стекло — это вечер
Красно-желто-зеленых людей.

Боковое стекло — это казни
Слева, справа распятых надежд.
Ветровое стекло — это праздник,
Горизонт разноцветен и свеж!

Я не верю в число роковое.
Автогонка меня завлекла.
Но я знаю, стекло боковое —
Это тень ветрового стекла.



ЮРИЙ ШЕСТАКОВ

ЛУНА В ГОРОДЕ

С тесной улицы в сквер завернем.
Я устало вокруг оглянусь
и растерянно улыбнусь,
перепутав луну с фонарем.

Видно, здесь никому не нужна
деревенская эта луна.

Делать нечего в городе ей:
затерялась среди фонарей...

А когда-то одною собой
освещала простор луговой

и жила за горой, по соседству
с нашим краем, далеким, как детство...



* * *

Многих близких нет уже на свете,
под землю
их затерян след..
А над нею те же звезды светят —
что им тридцать, что им сотни лет?

Что им поле, что им лунный сумрак,
что им горе или смех в ночи?
Вечность в их масштабе — только сумма
бесконечно малых величин:

этих туч, собой луну задувших,
этих рос холодных, этих слез,
этих глаз, что излучают душу
в глубь и в ширь Вселенной зорче звезд..



ВАДИМ ШЕФНЕР

* * *

Листаю пожелтевшие газеты,
Разглядываю тусклые клише.
Нестрого смотрят на меня портреты
Строжайших тех, которых нет уже.

Толпятся пассажиры на вокзале;
В даль вечную умчат их поезда.
Тех, что спиной к фотографу стояли,
В лицо я не увижу никогда.

ОСЕНЬЮ СОРОК ПЕРВОГО

Память, минувшее унаследуй,
Помни сентябрь сорок первого года!
Друг мой, не веровавший в победу,
Жизнь за Отчизну бесстрашно отдал.

Ну а тогда не каждый, не всякий
Верил, что злую силу осилим,—
Но, не колеблясь, в час контратаки
Жизнь был готов отдать за Россию.

Это теперь незрячим и зрячим
Видно сквозь годы, что в отдаленье
Май сорок пятого нам маячил
В дни самых горестных отступлений.

Память людская, все унаследуй,—
Помни о тех, кто давней порою
Просто за Родину, не за победу,
Пали смертью героев.

ВЕЧЕРНИЕ МЫСЛИ

Тайного не зная кода,
Без отмычек и ключей,
Как дурак, стою у входа
В мир всеобщий и ничей.

Я не ведаю, откуда
И куда летит со мной
Неразгаданное чудо —
Тяжеленный шар земной.

И никто мне не ответит,
И нигде мне не прочесть,
Почему на этом свете
Существует все, что есть.

Вдруг все сущее прервется,
Вздрагнет звездная пыльца —
И грядущее начнется
С неизбежного конца?

БЕСЕДА

Залетел недавно Демон
Познакомиться со мной,
Побеседовать на тему
О судьбе своей земной.

Помахав крылатой дланью
И ответив на поклон,
На людское невниманье
Начал жаловаться он.

Из поэм и из картин он
Нынче изгнан без суда —
А ведь как ему фартило
В стародавние года!..

Мол, и Лермонтов, и Врубель
Понимали, что к чему,—
Почему ж идет на убыль
Уважение к нему?!

«Разве есть меня кто хуже?! —
Крикнул он, впадая в раж.—
Разве более не нужен
Отрицательный типаж?!»

Я в ответ:
«Товарищ Демон,
Я желаю вам добра.
Вы стары душой и делом,
Вам на пенсию пора.

Ваша техника убога
И грехи невелики —
Пожилого педагога
Превзошли ученики.

Я — не самый злой на свете,
Но признаюсь без прикрас,
Что на нынешней планете
Даже я вреднее вас».

ПЕТРОГРАД

Подворотен сырые своды
И травинки между камней,
Госпитальные парходы —
Петроград моих детских дней.

Хитрой памятью упакован
Этот город в цветной туман,
В золотую фольгу былого,
В сказок розовый целлофан.

Но припомню дни голодовки,
Холод, сгустки декабрьской мглы —
Из рождественской упаковки
Выпирают его углы.

Выпирают событий ребра
Сквозь уюты тонкий жирок...
Петроград, ты был очень добрым,
Но счастливым ты быть не мог.

1940—1982

Прости мою судьбу
как череду трагических чудачеств.
(Простишь — заплачешь.
Не простишь — заплачешь.)
Прости,
И так жестоки холода.
Противоборство до весны оставим,
Ты видишь — я застыл, как мертвая Нева,
Лишь ночи теплые
промоин
под мостами».

* * *

Не верь словам моим.
Хотя они не лгут,
хотя они всю правду говорят,
они от бега мыслей
отстают,
как лживые огни горят
в фарватере судьбы моей,
и не оставят верного следа...
Где словом
означалась мель,
там — глубина...
И этому не верь.
Хотя они не лгут,
хотя они всю правду говорят...
Но мысли
так отчаянно бегут.
Слова за ними,
как мосты, горят.

НОРА ЯВОРСКАЯ

* * *

«С меня-то нечего взять,—
мне бабка Вера сказала.—
Тебе еще все терять,
а я уже потеряла.

Мне легче на свете жить —
какая страшна мне сила?!
Тебе еще хоронить,
а я уже схоронила».

Сорваться боясь на крик,
сказала я бабке тихо:
«Типун тебе на язык!
Ты что ж мне желаешь лиха?!»

«Да что ты, господь с тобой,
на то ведь не наша воля.—
Махнула сухой рукой,
добавила: — Бабья доля!»

Перемещение вещей —
как революция в квартире...
Они бы пребывали в мире,
когда бы не диван-злодей...

Диван был в звании высококом —
пригрелся под хозяйским боком
и, как брюзгливая старуха,
шептал всю ночь хозяйке в ухо,
что время перемен припело,
всем жить, как жили, надоело,
а всех несчастней и бедней
невзрачный коврик у дверей...

Хозяйка на диван сердилась:
«Спать не мешай мне, сделай милость!
Все постепенно так сложилось,
и в этом смысл какой-то есть.
А смысла нет, так есть порядок,
привычен он да тем и сладок,
А новый сладится ль, бог весть...»

Диван крутил свою пластинку:
«Коллеге стулу дует в спинку,
торшеру — тошно, полке — тесно,
сервант — в тени, в проходе — кресло,
а старый шкаф жучком изъеден,
такой сосед в квартире вреден...
Мне лично ничего не надо,
вы — здесь, ковер персидский рядом,
вернее, состоит при мне,
доволен местом я вполне.
Я вам не портил бы ночей,
но... бедный коврик у дверей...»

Хозяйке слушать надоело,
и принялась она за дело:
на место полки встал торшер,
на место кресла — секретер,
сервант — придвинула к окошку,
в прихожей — поместила кошку,
собаку, вымытую в ванне,
на место кошки — на диване.
Нашла для кресла уголок,
шкаф — пьяный дворник уволок...
В квартиру въехал новый шкаф,
высокомерный, словно граф.
Хозяйка, завершая дело,
ковер персидский снять хотела
и бросить под ноги к дверям,
но завopil диван: «Не дам!»
Она подумала, вздохнула:
«Впрямь жалко!» — и рукой махнула.
Так и остался при своей
недоле коврик у дверей...

Зато с другими все иначе.
Но... секретер о прошлом плачет,
серванту — в спину справа дует,
в прихожей кошка негодует,
торшеру — тесно, полке — тошно,
а креслу жить в углу несносно...
К тому же всем им портит нервы
надменный шкаф, красавец первый...

Диван скрипит в ночи: «Однако
обивку пачкает собака,
мне с кошкой было веселей...»
Он о себе теперь хлопочет
и вспоминать уже не хочет
про бедный коврик у дверей.



АВГУСТ ЯРКОВЕЦ

* * *

Вечерних песен свадебный мотив
скользит, скользит и тихо ранит душу.
Ячменный месяц выброшен в залив
и рыбу чудовищной надкушен.

И, накренив надежд порожний челн,
какой-то непонятный ветер сбоку
проносится, срывая гребни волн,
и, отставая, плачет одиноко.

За горизонт скрывается тропа,
доказывая, что земля поката.
А у плеча стоит моя судьба
и почему-то смотрит виновато.

* * *

Сквозь чащи, сквозь молчанье
готических лесов
доносит гул печальных
родимых голосов.

И к пропыленным травам
склоняясь головой,
я слышу оклик: «Ава,
вернешься ли домой?!»

А я иду над кручей,
над полою водой,
под солнцем, под падучей
полуночной звездой.

И молодость, как слава,
проходит стороной ...
Вновь слышу оклик: «Ава,
вернешься ли домой?!»

Еще чуть-чуть. А там уж
вернусь. Но вот дела —
невеста вышла замуж,
а мама умерла.

Над кладбищем, над лесом
прощальный крик дрозда.
Цветочки из железа
на шее у креста.



МИХАИЛ ЯСНОВ

* * *

Окруженный резною листвою,
миг мой летний, постой,
погоди, мы немного помедлим.

Жук ползет, и по медным,
твердым латам его так же медленно солнечный блик
проползает: возник —
и исчез.

И сомкнулась трава, как дремучий и девственный лес.

Есть в июле и августе редкое время,
чтобы выпасть на время из жизни, и в теме
«Я и мир» отдохнуть на вставной, на пейзажной главе,
на которой задержится лишь искушенный
и неспешный читатель. В траве
полумрак затаенный,
и не так-то легко одолеть тишину и пробиться
сквозь нависшие стебли и эти страницы.

Но когда суета
оставляет тебя и лета,
те, что клонят, как водится, к прозе,
заставляют в рифмующем мире осматривать каждый пробел,
ты опять замыкаешься в тяжком вопросе:
что он есть, наш удел?
И какое твое назначение и цели?
Комья рыхлой земли под ногами осели.

Что же есть в современном сознание такое,
что тобою
говорит, отличая тебя неустанно от зета, от игрека

и, уж конечно, от икса

в нашей общей дороге до Стикса
иль до той безымянной канавки в распадке глубоком,
где настанет пора превращаться в воздушную куколку, в кокон?
Наши тропы узки, наши стебли ветвисты,
и взлетают, аукаясь, метафористы.

И пока в эти корни вбивают болты,
и стальная листва, с высоты
опускаясь, сжимает кольцо
над землю, кипя и алая,
и поющий мутант приближает лицо
к озерцу, как к экрану дисплея,—
мы ступаем в притихшей траве
по горячей, как кровь,

как душа, невесомой,

тропе...

* * *

Он говорит: «Поэт — пророк!»
Мне что-то зябко, я продрог,
чуть шевелю ногами.
Он говорит: «Судьба — гореть!»
Да хорошо б не околеть,
покуда вспыхнет пламя.

Он говорит: «Сгорим дотла!»
А мне бы — краешек стола
да яркие чернила.
Он говорит: «Воспрянем вновь!»
Так далеко моя любовь
еще не заходила.

Я не умею воссоздать
из пепла, руки воздевать
и снова загораться.
Он говорит: «Лечу, лечу!»
А мне крыло не по плечу —
с ходьбой бы разобраться.

Он говорит: «Я тут! Я там!»
Оставлю летопись векам!»
А я колдую: вылупись,
моя скупая зимопись!

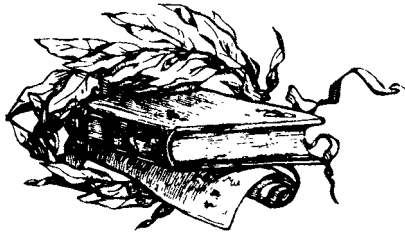
Гляжу в окно — он там летит,
размашисто, красиво,
а я лелею мой петит
с прожилками курсива.

Расти, побегов не тая
и горестей не пряча,
хромая азбука моя,
домашняя удача.

Гляжу в окно — летит пророк
при скопище народа,
у зимостойких этих строк
набравшись кислорода.

* * *

Молодая поросль
вырастает порознь.
Пробиваются сквозь травы
маленькие веры, славы —
каждый сам себе дубок.
Рвы повсюду да канавы,
лес прозрачен и глубок.
Хорошо бы ветка к ветке —
да деревья нынче редки,
и стоят вокруг одни
мхом затянутые пни.
На кого же опереться
здесь, на маленькой земле?
Хорошо бы вверить сердце
не металлу, не пиле,
а такому же, родному,
из того же чернозему —
в почках, птичках и коре.
Он мечтает по-другому,
но о том же: о добре.
Хорошо бы прикоснуться
не к мечтам — их пруд пруди! —
и очнуться, и проснуться
не от тесноты в груди,
а от тесноты рядов —
и коснуться облаков!





ЛЕОНИД АГЕЕВ
ОЛЬГА БЕШЕНКОВСКАЯ
ТАТЬЯНА ГАЛУШКО
ГАЛИНА ГАМПЕР
ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ
ЯКОВ ГОРДИН
ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ
НАТАЛИЯ КАРПОВА
ИГОРЬ КРАВЧЕНКО
ЛЕВ КУКЛИН
АЛЕКСАНДР КУШНЕР
НАТАЛЬЯ ЛАНКОВСКАЯ

РИММА МАРКОВА
ЛЕВ МОЧАЛОВ
НАТАЛИЯ ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА
СВЕТЛАНА РОЗЕНФЕЛЬД
НОННА СЛЕПАКОВА
ВИКТОР СОСНОРА
ОЛЕГ ТАРУТИН
ГЕННАДИЙ УГРЕНИНОВ
ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ
АЛЕКСАНДР ШКЛЯРИНСКИЙ
ЗОЯ ЭЗРОХИ
ОЛЕГ ЮРКОВ

ОЛЕГ ЛЕВИТАН





ЛЕВ МОЧАЛОВ

* * *

...Не додумана жизнь...

Глеб Семенов

И если правда есть тот свет,
полуземля и полунебо,
где лет и расстояний нет,—
Кирилл найдет, конечно, Глеба.
«Мы снова вместе, старина!
И вроде бы ничья вина,
что некогда навек простились».
Вокзал. Перрон. «Прощай-прости».
— «Навряд ли скрестятся пути».
Как видишь, все-таки скрестились...
И вот — кругом прозрачный сад,
покой, томление покоя.
Но, заскучав, сообразят
и наскоро изобразят
прозрачный стол
и все такое...
Потом поднимут по одной,
прозрачайшую тронув закусь.
А судьбы их — за их спиной —
включат свою видеозапись.
И странно,
но желанный рай
вдруг перекинется отсюда
в далекий — в тот ли, этот — край,

где спешка,
 слякоть
 и простуда.
Не вырваться из колеи
своей придирчивой заботы.
У каждого — долги свои.
И угрызения.
И счеты.
Свой чад земного бытия,
что кажется
блаженным дымом.
И вновь расходятся друзья
в раю земном —
невозвратимом.
Вновь — прежний путь
и прежний бег.
Повторный фильм, где человек,
быть может, открывает нечто,
свой горький,
свой невечный век
прокручивая бесконечно...



О Т Р Е Д К О Л Л Е Г И И

Навряд ли кто скажет, когда начался, но едва ли кто сомневается в том, что никогда не закончится,— разговор о преемственности поколений в искусстве (в частности — в литературе, поэзии), о направлениях, школах.

Естественная, «возрастная» смена поколений имеет к преемственности весьма косвенное отношение: не ламинарное течение Поэзии охватывает множество с к в о з н ы х — через годы и годы — течений, потоков, струй... Процесс, безусловно, сложный, противоречивый, требующий изучения.

Выделяя — из отобранных для альманаха произведений — стихи авторов, представленных в данном разделе, редколлегия хотела еще раз напомнить о таком явлении литературной жизни Ленинграда четырех послевоенных десятилетий, каким был Глеб Семенов. Сбран-

ные «за круглым столом» поэты в свое время занимались в литературных объединениях, руководимых Г. С. Семеновым; все — начиная с «тамады», Льва Мочалова, «старейшего» ученика и младшего друга Глеба Сергеевича.

Сбор, безусловно, неполон: нет кого-то, чьи стихи не попали — по тем или иным причинам — в окончательный состав альманаха, пуస్తуют «именные стулья» променявших ленинградскую прописку на столичную — Владимира Британишского, Александра Городницкого, Нины Королевой, Андрея Битова... Рамки «Дня поэзии» тесны и жестки.

Человек и после смерти остается в нашей жизни. Его духовное присутствие проявляется по-разному, но испокон веку только учителю дано — воплощаться в делах своих учеников, в их работе. Только учителю

* * *

А ты припомни... Ты скажи,
что кривда — правдою божилась.
О честность, отданная лжи,
ты тяжелей,

чем просто лживость.
Ты тяжела.

Ты тяжела.
Тобою сыты мы по горло.
Ты —

неотступная жена,
несущая покорность гордо.
Молчишь — из дальнего угла —
и вся-то в том твоя услада,
что слишком много поняла...
Пожалуй,
больше и не надо!



ЧИТАЯ ЖУРНАЛЫ

Будто боль — застарелая, тайная,
та, что, отупев, замерла,
а теперь отходит, оттаивая,
но еще сильнее — от тепла...

Будто письма, пропавшие без вести,
повалились, посыпались вдруг,
приходя из той неизвестности,
где нам все известно, мой друг...

Да и разве не мы, не сами
каждый день, каждый час, каждый миг
их своей немотой писали?
Мы ль теперь
получаем их?

Ну, а если еще откровеннее,
так, как было нам не суждено, —
не на похороны ль поздравлень?!.

Все равно приму.
Все равно!



* * *

Повинен или нет пророк
в трясении земли великом?
Он полагает,
 что предрек!
Мы полагаем,
 что накликал!

Не ты ль насочинял беду?
Не ты ль затмение наметил
в таком-то, видишь ли, году?
И думаешь, слова — на ветер?

Так. Три гвоздя и два бруска!
Все представленья крутим снова!
Да вот под ложечкой тоска, —
а что твое содеет Слово?

Куда пойдет и чем взрастет,
презрев законы и засовы,
когда его отторгнем от
ничтожества
 твоей персоны?



ЛЕВ КУКЛИН

ЮБИЛЕЙ ПЕВЦА

Памяти В. В.

В жизни шел он до конца.
Отравился трупным ядом.
Нынче сделали певца
Не народным, а — всеядным.

Было можно — обижать,
Было можно — возмущаться.
Разрешили обожать,
Разрешили восхищаться...

Все стараются, спеша,
Поскрести могильный камень.
Песни, сердце и душа —
Все захватано руками.

Стала слава дорожать,
Но не надо обольщаться:

Подтолкнули обожать,
Подсказали восхищаться.

Все теперь разрешено,
Достижимы все желанья,
И распахнуто окно —
Да оборвано дыханье.

Было можно — угрожать,
Было можно — не считаться.
Предложили обожать,
Приказали восхищаться!

Появляются «друзья»,
Укрупняются кумиры...
Но трагедию нельзя
Растащить на сувениры!

ГОРНОЛЫЖНИКИ НА ПАРНАСЕ

Я-то думал о звездном часе —
Мол, ужо взберусь на Парнас...
Горнолыжники на Парнасе?!
Неужели это — про нас?

Менестрели, простившись с бытом,
В строй вставали у здешних скал.
Здесь крылатый Пегас копытом
Искры звонкие высекал!

А теперь — за залетной тучкой,
Промыная подмерзший наст,
На подъемнике,
 сделав ручкой,—
Так легко покорить Парнас!

Аполлон со своей... кифарой
Позабыт, старик, позабыт.
Вот плейбой с электрогитарой —
Это, в общем, нормальный вид!

А вокруг — особая зона.
Что там девять каких-то муз!
Горнолыжницы в комбинезонах
Улыбаются, тянут джус...

«Россиньоли», «Блицары», «Эланы» —
Ну конечно, не задарма —
Вот вам марки новой Эллады,
Так сказать, «крутая фирмá»...

Сколько сведений есть в запасе!
Я, пожалуй, вздохну не раз:
Горнолыжники — на Парнасе?!
Ведь подумайте — это ж Парнас!

Я, надеюсь, ничем не унижу
Вас, поэты новых времен,—
Становитесь смело на лыжи,
Выходите на горный склон!

И — любители, вовсе не асы
(Ворожи им судьба, ворожи!),
Горнолыжники мчатся с Парнаса,—
Ах! — закладывая виражи!

Эй, поэты!

 За ними — пробуй!
Вы азартны, спортивны, сильны.
...А кастальский ключ — он особый:
Это, братцы, с другой стороны!

Р Е Ч И

Он говорил — не крупный, рябоватый.
Сидел вокруг президиум ЦК.
Он говорил — не громко, хрипловато,
Как фраза — раз — и сразу на века...

Он принимал все виды поклонения —
От детского срывавшегося пения
До взрослого коленопреклонения;
Как на дрожжах, взбухала спесь его.
Он все вещал за наше поколение,
Он обещал за наше поколение,
Он говорил за наше поколение,
А поколение — молчало за него!

Он говорил — мы радио включали.
Звенела бронзой каждая строка...
Он говорил — и все вокруг молчали,
Лишь про себя невольно отмечали
Акцент для нас чужого языка.

Да, все молчали. Думали о чуде.
А он-то был не бог и не пророк.
Я знаю, что молчанье — не порок,
Но почему, но почему же, люди,
Никто не смог переступить порог,
Никто не молвил слова поперек?!

...В деревьях десять раз сменились соки
Какие незначительные сроки!
А в школах речи нет о том вожде,
И посбивали бронзовые строки
С фронтонов, пьедесталов и — везде.

История!

Ведь сколько раз так было —
Цари, герои, копии вождей...
О монументы! Статуи из мыла —
До первых очистительных дождей!

А истина — жила,
в реке плескалась,
Пчелой гудела, на лугах цвела.
А истина — нигде не высекалась,
Поскольку, к счастью, вечною была...

Он говорил — некрупный, рябоватый.
Мы были все вниманием объята,
Текла незримо вечности река...
Он говорил.

Он говорил когда-то,
А вот теперь — перебирая даты, —
Кто может вспомнить все наверняка?!

1963



ЛЕОНИД АГЕЕВ

ИЗ КНИГИ «РАССТАВИВ ДАТЫ»

МАРТ 1953 - ГО

Единая трагическая сцена
промерзших улиц, скверов, площадей.
Под крыльями усталыми Шопена —
тяжелое безмолвие людей...

Казенная фуфаячка смешная
да брюки клеши «чертова» сукна...
Шел человек,

спешил, не поспешая,
тащил бутылку легкого вина.

Весенний —
от бородки неопрятной
до четко пританцовывавших ног,
веселый —

он веселости не прятал,
и не хотел, и, видимо, не мог...
Густой плевок в заплаканные лица!
На рану — ковш кипящего свинца!
Заклятый враг,

пришедший поглумиться
в мой дом, осиротевший без отца...
Бил я не многих. И всегда — за дело.
Отпустятся грехи — невелики.

Но то
со стуком рухнувшее тело...
Но те очки —
толпе под каблуки...

1957



ВСТРЕЧА ПОЭТОВ С 1937 ГОДОМ

Лежал их путь — трагичен и короток.
Они не знали —

будет ли, как б ы л о...

А им еще смотреть из-за решеток,
а им еще точить в Сибири пилы.
Еще они друг другом не любимы,
осмеяны, зашучены друг другом.

По-мелкому спесивы и ранимы,
пока еще не пайкой, а досугом
делясь,

бранятся шумно из-за строчек
и пьют во с л а в у о б щ у ю спиртное.

А им —
рабами выкормышей волчьих —
одно на всех

большое и тупое

бревно
тащить на окрик паровоза...

Они еще побриты...

И одеты —

по моде...

И — при женщинах... И в позах
героев — из богемной оперетты.

Они не знали —

будет ли, как б ы л о...

Нагруженные хмелем и стихами,
про время вспоминали с петухами
и, кофе отрезвляюще-постылый

глоталя залпом,

подымались вяло,

шли к вешалке походкою неверной.

А будущее их

уже стояло,

примкнув штыки,

за тоненькую дверью.

1957



ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

А кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят...

1

Наум Коржавин

Подполковники милиции...
и советники юстиции...
над столом «Казбека» дым...
Человек не дрейфить силится
и стихи читает им.
Он, сюда повесткой вызванный,
должен снова убедить,
что

все мысли его — признаны,
что не кличет он беды
на родимое правительство,
на родной советский строй,
а особо — на провидца,
на того, кто всей страной
обожаем...

Подполковники
и советники молчат.
На закатном подоконнике
глобус пламенем объят...

2

...Дочитать —
с мольбою: верьте!
Дохрипеть — не онеметь!
До слезы
глаза
на двери
кабинета —
не смотреть

заставляя...
Повезет ли,
как тогда... и как тогда?
Невезучих — были сотни,
где они?
«Иных уж...» Да.
...Словномышь из мышеловки,
выпускался он в Москву.
В первой встреченной столовке
водку пил, жевал жратву,
наливался теплым чаем,
клял под блюдечко рубли...
Разморожен,
беспричален —
уходил
и шел, как шли
рядом тысячи.
И только
что-то в теле пело тонко,
что-то саднило во рту!
Про советников юстиции,
подполковников милиции
(как в студентах — на ходу,
как в семнадцать лет — запоем!)
он «стишата выдавал»,
и боялся их запомнить,
и к утру не забывал...

1962



ОЛЕГ ТАРУТИН

КОНЕЦ ПАНГЕИ

(К теории расползания материков)

Неспроста расползались когда-то
совокупные материки:
расползались в преддверии даты,
что наступит всему вопреки.
Торопились свирепо и слепо,
выгрызаясь из общей брони,

обрывали сосуды и скрепы,
 размягчая в базальте клешни...
 А Земля — в мезозойском обилье:
 нету счета телам и стволам...
 Что ж они растащили, укрыли
 семя жизни по разным углам?
 То планета учуяла разум
 и себя в пятипалой горсти.
 Ну так вот,
 чтоб в грядущем — не разом,
 чтоб хоть толику жизни спасти.
 А не пахнет еще и приматом,
 тьма веков до разумных, до нас...
 Рановато, Земля, рановато...
 В самый раз, говорит, в самый раз...



ЧИТАТЕЛЬ ФАНТАСТИКИ

<p> ...Эти тучи дождем чреваты. Эти тучи скрывают высь и корабль, мгновенный, как мысль, пробивающий воровато стратосферу моей Земли — ничего худого не ждущей... А вдали — еще корабли из неведомой звездной гущи. Вот сейчас кто-то сядет здесь, на шоссе, промозглом и сизом. Выйдет чуждый мне организм и начнет меня злобно есть. «Да за что?!» «А чтоб не гадал! Много знаешь о наших планах!» И откусит он мне тогда </p>	<p> ногу левую до кармана. И откусит правую кисть вместе с запонкой и манжетом... «Выдавай название планеты! Называй города!» «Ни в жисть! Ничего не скажу! Ура!!» А пред гибелью неминучей плюну гордо в их аппарат. И машина ржавую кучей вдруг осядет... Я отомщен! Пропадай, межзвездная пташка! Что, пришельцы? Уже вам тяжело? А герои — грядут еще! </p>
--	---

ВАГАНТОВЫЕ СТРОФЫ

Солнце катится к закату.
 Разве крикнешь, мол, куда ты?
 Воротись, любезное!
 Так и ты, брат, в годы оны
 не воротишься с уклона —
 дело бесполезное.

А не время ли итоги
подводить в конце дороги,
за порядок ратуя,
не ханжою и не трусом:
что тут минусом и плюсом,
прибылью, утратою?

На моем отрезке-сроке
был и добрым, и жестоким
мир — един обличем.
И в моей Отчизне милой
в это время — всяко было,
да и есть в наличии.

В этом мире угловатом
с правдой было туговато,
с ложью же... Ну правильно.
Оттого и голос лирный
мог писклявым быть и жирным
или все же — праведным.

Славным делом песнопенья
не снискал я ни имения,
ни почета-звания.
Если вдруг споткнусь я, скажем,
мой пиджак не звякнет даже
звяками признания.

Ну а, впрочем, не грешно ли
попрекать свою мне долю,
на итоги сетуя?
Или дружество я предал,
или я любви не ведал,
не бродил по свету я?

Что до песен,
ведь бывало —
восставали из провала,
для потомков — нужные.
Был Назоном ты иль Дантом
или пел свое — вагантом
на путях завьюженных.



ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ

ТЫ С Я Ч А Л Е Т

(Киевский цикл)

I

В ГОСТИНИЦЕ

За окнами — Крещатик. Лики зданий,
рожденных в муках... Зодчество войны.
Там, ниже — Днепр, лишенный очертаний,
в бездушном серебре языческой луны.
Как тяжело спать на простынях сказаний.
Мне снится храм, лучистый храм-алмаз,
и первые Отчизны христиане,
еще не ведавшие скучных фраз.
Мне сказочно в гостиничном пространстве.
В моем мозгу, привявшем, как трава,
мерцает прошлое! А явь — полумертва.
Ночь за окном... К чему бы эта страстность
в прислушиваньях к миру, что иссяк?
И — что есть Время? Человек? И — всяк?

II

Не будет препятствий моей запоздалой любви
ко всем этим кровлям, холмам и Софиям...
Безгрешен порыв мой внедрения в княжеский Киев.
Взыскую у жизни: пресветлая, чудо яви —
верни православным обитель, святую Печеру,
как сердцу — былые восторги,
как — зрение взору!
...Владимир на круче, взлелеявший разумом крест
и смысл византийства, прозревший пространства.
Теперь — на колени: испить от Днепра постоянства
страдавших за правду и павших окрест.
Но губы слипаются, терпкий вкушая мазут!
Надкусано яблоко — плоть ему к Черному морю.
Я в нем содержание жизни оспорю!
В нем больше рентген, чем у жизни минут.
И десять веков мы умнели, и тысячекратно
острее наш разум. А цель, хоть ясна,— непроглядна.

III

В КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ

Вот съжившееся государство
за изгородью белых стен.
Здесь мощи времени. Здесь царство
теней нетленных. Самоплень.

Блокада жертвенного духа
соблазнами. Здесь схи́ма дум.
В пещерах подлинно и сухо.
И шум толпы, бесследный шум.
И тяга к солнцу — к свету, к саду,
к теченью вечного Днепра.
А то, что свято, в принцип сжато,—
вдохнуть всей бездною нутра.
Пещерный гнет, гордыни схи́ма.
Здесь Русь творима и хранима.

IV

ПОД ВЛАДИМИРОМ

Ну что — ощутили
тот акт за незримой чертой?
Вот здесь и крестили...
За пристанью той.
За вербою старой,
за стайкой отлетных галчат,
за той бочкотарой,
где сваи торчат.
...А в палевом дыме
осенних листовых костров
над кручей — Владимир,
смятенно суров.
Силком, батогами
сгоняли к веселой воде.
Теснили пинками
к Христовой черте.
Туда, к облученью
наукой — ума.
Туда — к просвещенью!
Оттуда, где — тьма.

V

ЯЗЫЧНИКИ

Выходит, напрасно
крестили, тащили из тьмы —
теперь-то уж ясно:
язычники мы.
Помолимся брюху,
душистой, как труп, колбасе.
А светлому духу —
хихикнем бездумно, как все.
Стальные фигуры,
бетонный парад пирамид.
Из мускулатуры
наш дух бездуховный отлит.
Все эти церквушки,
вся эта трухлявая скорбь,

все эти старушки —
не нашему богу укор.
Мы лепим ракеты,
мы шарим в пустых небесах!
Вдыхайте, аскеты,
свой дух монастырский,
как страх.
Мы врежем реактор,
как сердце, в бетонную суть.
А все эти акты
с крещеньем — трусливая муть.
Наш идол — мгновенье!
Свинцов его ядерный лоб.
За нами — движенье.
А там — хоть потоп.

VI

АСКОЛЬДОВА МОГИЛА

Беседка, ротонда — как хочешь ее назови,
существенно то, что она — на крови...
Обманным путем заманил на ночлег
Аскольда и Дира — Олег.
Какая кровавая вызрела страсть
под солнцем людей: над подобными власть!
Мы братья земли, но какой в этом толк:
Бориса и Глеба пожрет Святополк.
Беседка, ротонда, а хочешь, скажи — павильон.
Безвинно погибших под ним —
не один миллион.
Над Киевской Русью, как розовый пух облаков,
плывут их дождливые души
из мрака веков...
Беседка, ротонда...
Вглядись, мое сердце, в себя:
как жить повелишь?
Убивая? Скорбя?

VII

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ СТАРУХИ

Ночь душная. Контрольный пост.
На Припяти лежит понтонный мост.
Их задержали юные стрелки —
тех двух старух — на спинах узелки,
тех двух бабуль, подпертых батожком,
две сотни верст отмеривших пешком.
Они — туда, где мертвые сады,
они — домой! Там отчие кресты...
Они сказали: там вот и умрут.
Они разулись: боты ноги трут.

Им лапоточки нынче в самый раз.
Их задержали. Им прочли приказ.
А ближе к ўтру — крадучись, ползком —
они исчезли... Благо, путь знаком.

VIII

СНЕГ КИЕВСКОЙ РУСИ

Заутро выпал снег.
Как проступила соль —
на кровлях, проводах, деревьях.
Соль жизни. Или — чья-то боль.
Не чья-то -- наша, зревшая издревле.
Снег Киевской Руси. Пора в аэропорт.
Сегодня улетать к снегам балтийской вязки.
Крестами черными — из белого — в упор
чернеют рамы в окнах-масках
И снова улетать, как умирать.
Прощай, Крещатик, чую, чую:
мне на тебя вторично не взирать —
вог разве облаком, которое кочует
по белу свету, сея с небеси
соленый снег, кровавый снег Руси.

IX

МИССИЯ

Тяжко в землю палочку втыкая,
шел старик, согнувшись пополам.
У России миссия такая:
крест нести, дабы воздвигнуть храм.
Шел старик. Попутные машины
тормозили... Но, махнув рукой,
шел себе, не ведая кручины,—
что поделать, если крест такой?
Две старухи пыльные, сверкая
глазками,— в кильватер старику.
У России миссия такая:
суетиться! Ясно дураку...
Ну, а что же их влечет по свету?
Миссия влечет. Коль бога нету.

X

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ

Не из дерева-кирпича,
не из мрамора и гранита —
из немеркнущего луча
плоть благая ее — отлита!

Православная, вопреки
всем печалям — не пала низко.
Колыма, Сибирь, Соловки —
вот героев ее прописка.

Ей завещана страсть — не страх.
Страстотерпица! Слышу эхо:
то горят на своих кострах
Аввакумы двадцатого века.

Не иссякла в кровавой тьме,
не изникла в бесовской смуте.
Вот она стоит на холме
в осиянной Господом сути!

Пусть одежда ее проста,
цель подвержена злым наветам...
Свет негромкий ее креста
неразлучен с небесным светом.



АЛЕКСАНДР КУШНЕР

В О Д О П А Д

Чтобы снова захотелось жить, я вспомню водопад,
Он цепляется за камни, словно дикий виноград,
Он висит в слепой отчизне писем каменных и книг,—
Вот кто все берет от жизни, погибая каждый миг.

Весь Шекспир с его витийством — только слепок, младший брат.
Вот кто жизнь самоубийством из любви к ней кончить рад!
Вот где год считают за три, где разомкнуты уста,
В каменном амфитеатре все заполнены места!

Пусть церквушка на церквушке там вздымаются подряд,
Как подушка на подушке, горы плоские лежат,
Не тащи меня к машине: однолюб и нелюдим,
Даже ветер на вершине мешковат в сравненье с ним!

Смуглых рук его сплетенье и покатое плечо.
Мне теперь ничье кипенье на земле не горячо!
Он живой, а ты живущий, поживающий, слегка
Умирающий, жующий жизнь, желанья, облака...

Я думал вот о чем, я думал, что везенье
В том заключается мое, что в Ленинграде
Я жил вне зоркого к себе расположения
Досужей публики, что спереди, что сзади
Широкой, нет, серьезно, вне ее вниманья
И поощренья — много лет — и ты, столица,
Не требовала ты, Москва, завоеванья,
Зачем? Не занималась мной и заграница.

Я думал вот о чем, я думал, что московский
Литературный быт мне был бы не по силам.
Еще везенье в том, что век нам выпал жесткий,
Но с поостуженным и пообмякшим пылом,
И выяснилось, что литературных премий
Желать нелепо: Зощенко лауреатом
Ведь не был; лучше быть не с этими, а с теми,
Идти, задумавшись, курчавым Летним садом.

И думал я еще о том, что в шестистопном
Ямбе неплохо иногда сдвигать цезуру
И перестраивать его волноподобным
Движеньем — так рукой взбивают шевелюру
Или, что ближе к ощущенью, так земная
Поверхность где-нибудь в Сорренто шевелится,
Когда Везувий, содрогаясь и стеная,
Вдруг заворачивается в логове, как львица.

Еще я вот о чем подумал, что везенье
В том состоит, что посылать стихов не надо
Кому-то, кто о них судил бы в отдаленье,
В той же Италии, у синих волн, — чревата
Опека горькою зависимостью, лучше
Нам не притягивать из-за смолистой рощи
Пиний и лавров — взгляда добрых глаз колючих,
Совета в дружеском письме — писать попроще.

И окающий говорок и тибетейку
На сером ежике волос легко представить.
Искал бы выход я, как узкую лазейку
В ограде каменной, чтоб старика избавить
От огорчения при виде тех процессов,
Что развиваются в поэзии, почтенья
К непрочной старости не знающей, навесов
Над ней не строящей и рядом — огражденья.

И думал вот о чем, я думал, что свобода
Располагается неравномерно в жизни,
Что больше, может быть, ее в стихах, что мода
Растет на рифмы при ее дороговизне,

Так пусть же падает спрос на стихи — прекрасно!
Тем более что жить им предстоит отдельно
От нас, а будущее нестерпимо ясно,
Не утешай меня: обида не смертельна.



Л Е Т И , Д У Ш А !

Лети, душа, в пыли и прахе, как лист кружа. Дневные споры, ночные страхи, полет стрижа и уговоры, что жизнь свежа.	пять в Себастьяне стрел; в остальном — как на экране, жизнь бьет ключом, и горожане на дальнем плане.
Круги, узоры, что он крылом чертит, и шторы под сквозняком дыханье — вторят чужой строке. Но горы горя, но кровь в реке времен... Сомнителен твой полет, внизу растительный мир цветет, но непростителен жизни ход: так крот, петляя назад, вперед, ползет, глотая свой смрад и пот.	На обороте читатель пишет мне: «Как живете? Поэту свыше судьба дается, как Себастьяну». Мою берется промыть он рану. Так он уверен в ней, друг далекий. Стою, растерян, смотрю на плечи, на грудь, на щеки: гордиться нечем! Читатель дальний, ты сам утыкан, ты сам облизан огнем, печальной судьбой, пронизан стрелою, пикой, не замечая их в бедном теле. И только с края не лавры — ели.
Лети, душа, в пыли и прахе; я с этажа в ночной рубахе, едва дыша, тебе рукою машу, держа письмо — другою.	В России любят судьбу поэта. О, не уступят волнение это и грозный опыт. Стихи ж — постольку,
Конверт с клеймом из Тмутаракани, открытка в нем:	

поскольку губят
цари поэта.
Примеры копят
упорно, рьяно...
Все больше света.
Ночь втихомолку
пошла на убыль.
И пахнет странно
от века-волка
в овечьей шубе.

Да нет же, мне
притворяться стыдно.
В ночном окне
жестковатый, слитно
с туманом, тополь

темнеет смутный,
и спит Петрополь,
как сон, безлюдный.

Печаль какая!
В дыму утрат,
полуживая,
забытый лад
припоминая,
мечты, мечты,
где ваша сладость?
Вернешь ли ты
свою крылатость?
Лети, душа,
за рифмой «радость»,
как шмель, жужжа!



ТАТЬЯНА ГАЛУШКО

(1937—1988)

ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО — НЕ ЗАБУДЬ!

I

Теперь, когда смертный объявлен час,
Меня не догнать никому из вас,
Начальники жизни, политруки,—
Теперь это даже вам не с руки.
Не ужас, а боль свободы в груди:
Моя зависимость позади,
Заведомость каждого шага. Назад
Я не хочу. Даже в детский сад.
Обобщественные души, там
Мы были отлучены от мам.
Сад! Как рифмы четверостиший,
Помню скрежет твоих пассатижей:
«Ты молодец, но не стой на виду!
Лучше блондничку в первом ряду».

Но бессмыслен рассказ, что мы делали с ним...
О съедобном в стихах не годится.
«Ундервуд», приручаемый пальцем моим,
Вырывался, клевался, как птица.
Ундервуд — что за имя! Не кондор, не гриф —
Так и скачут железные ноги,
Ноги в буквах-подковках, а оттиски их
Как следы на январской дороге.
Учреждение — дом, где живет Ундервуд
И вишнево-янтарные счеты.
Деревянные бусы надеты на прут
Для веселой и звонкой работы.
Был ли в мире тогда соловей-перещелк,
Или жаворонка рулады?
Стук машинки и треск перевернутых счет,
Быстрый луч материнского взгляда.

.

IV

Бываешь ли ты частной, жизнь?!
Какая чушь! Вставай, ложись,
В метро толкайся, лги, божись
И кайся — тоже по команде.
Но, чур, не думать! Никогда
Не нужно разрушать гнезда
Нуф-Нуфа. Думальщики — «анти».
А серый волк домишко твой
Способен сдуть одной ноздрей.
От частной жизни так разит
Понятем «частник», «паразит»
И «чужаком и отщепенцем»,
Шпионом и агентом ЦРУ.
Модель придумавших игру
Учла тебя еще младенцем.
Считаешь ты свой кубик-дом
Английским замком, что-то в нем
Усовершенствуешь все время,
Гордишься крепостью своей
И хорохоришься: «Ей-ей,
Удачу ухватил за стремя».
Какой счастливец! То белье
Постельное купил для спальни,
То кафель, то фонарь хрустальный,
Твердя блаженно: «Мне, мое!»
Достиг, добился, приумножил...
Мое! До собственного дожил
Удела. Это ли не власть?
Какой отличный вид с балкона...
Все по заслугам, все законно,
Езды до центра только час.

И ты, и я — нам невдомек:
Жилплощадь эта — наш паек
По карточке, чей уголок,
Талончик нашей личной нормы,
Такой ничтожный, что писать
О ней — и то себя кромсать,
Дышать парами хлороформа.

V

Мать говорила: «Счастливой будь.
Четыре войны, теплушки и тиф,
Отплакано мной, отработано мной.
За все заплачено, не забудь!»



Вместо послесловия

Памяти Тани

Дерзостный взлет молодых кудесниц,
Кoим с тобой начинали путь,
Раздухарившись и приневестясь,
Чтоб кувырком покатиться с лестниц,—
Все не оплачено! Но — забудь.

Наше стояние за свинойной
Иль за колготками — верть да круть! —
В матерной очереди единой,
Где мы стиха познавали суть,
Строчки всю ценность — на рупь с полтиной..
Все не оплачено! Но — забудь.

Мягко-партийное «ты» с похлопом
Вскользь по плечу: «Ну, порядок. Будь».
Наше бессилье пред остолопом
И перед снобом немая жуть,

Наше нешастанье по Европам —
«Блин» да «кирпич»
с повсеместным «стопом» —
Все не оплачено! Но — забудь.

Носа не драть, головы не гнуть!
Самодостаточность — и в обоях
Несостоянье — ни в броневых,
Ни в элитарных. Не обессудь,
Честь дорогая — во днях застойных
Веско-подвижными быть, как ртуть.
Тех, кто меж стульев сидит застольных.
Легче не выдумашь — спихнуть.
Все не оплачено! Но — забудь.

Успокоительность компромисса,
Плавность отступничества: чуть-чуть,

ГАЛИНА ГАМПЕР

* * *

Мое детство — стеклянный зверинец,
Боксы детских больниц напросвет.
Шоколадка, печенье — гостинец,
От домашних посильный привет.
Мать с бабулей — свекровь и невестка,
Два колодника, скованных мной,
Постоянные — месья и отместка
За всевидящей детской спиной.
Вот она, сквозь все детство забота
И любовь на разрыв — до конца,
И беспомощно зрячее фото
Не пришедшего с фронта отца.
Детство смутно, как утро спросонок
Вечно длящейся полужимой.
Я — обритый больничный волчонок —
Никогда не хотела домой.



Вместо послесловия

Строчка, другая, а там — что крыса,
Глядь — и прихлопнута! Не взглянуть
Другу в глаза, не взыскать с Совписа...
Легкость заказов, поделок муть —
Все не оплачено! Но — забудь.

Наши любимые, мотыльками
С лестью летевшие к нам на грудь,
Чтоб югославскими башмаками
После стоптать и вдогонку пнуть:
Мол, нарывались на это сами...
Все не оплачено! Но — забудь.

Мелкие правдочки всех заклятых
Наших подружек. Мудрая скудь
Их «во-вторых, в-четвертых и в-пятых»,
Знание их точное, как шагнуть,
Как удержать, приготовить, взятюк
Как надивать, приманить, шугнуть...

Их снисходительность, их достаток —
Все не оплачено! Но — забудь.

Что ж после драки?.. Что было — было.
Дождь унялся, и чист горизонт.
Морсом закатным вдруг подсветило
Людный, веночный, ленточный понт.
Схватка окончена. Подкатило
Нише сраженья, наш ярый фронт —
К свежей траншее. Твоя могила,
Что так удачно добыл Литфонд,
Мне подтвердила, лишь я завывла:
Все не оплачено. Но — забыла.

Нонна Слепакова

* * *

Я свиньям жизнь свою стравила, псу под хвост
Она пошла, теперь пора поплакать.
Как желтый лист пошел сегодня в рост
В октябрьскую суглинистую слякоть.
Как упростилась жизнь в виду конца,
А помню, в затянувшемся начале,
От напряженья будто спав с лица
И неопратно, словно на вокзале,
Мы все толкались и чего-то ждали.
Не дождались. И на исходе дня,
Где, будто ангел, желтый лист витает,
Я вижу: старость около меня
Пустеющим пространством нарастает.
Пустеет холм, пустеет дальний лес,
И пересох ручей до дна, до хруста...
Уехал, умер, изменил, исчез —
И свято место остается пусто.

* * *

Мы, привыкшие фигу в кармане держать,
И подтекст, будто камень, за пазухой прятать.
О, как страшно, как странно нам губы разжать
И на старенькой «Оптиме» все напечатать.
Все как было, как есть, чтобы речью прямой
Наша речь наконец называлась по праву,
Нам, отвыкшим от дома, вернуться домой,
Нам к любви возвратиться, а не на расправу.

* * *

Интриганы, интриганки,
Как мы все дружны по пьянке,
По общественным пенатам,
По кладбищенским квадратам.
Кто тут левый, кто тут правый.
— Господи, сочтемся славой.
Босиком пройдем по лугу.
Проплывем в струях нирваны.
Как подогнаны друг к другу
Совершенства и изъяны.



СТИХИ КОНЦА ШЕСТИДЕСЯТЫХ

1

На маленьком блюде — фокстрот
И пляшет, и пляшет на столике.
И тянется ласковый рот
Того, что стоит у стойки.

Газетчик, тихарь, спекулянт,
О, сколько простора ночного!
Не плакать, не жечь, не стрелять,
Кивать ему снова и снова,

Тому, что у стойки стоит
И держит стакан лимонада,—
Тихарь, говорливый старик,
Пылинка, частица, монада.

«Постойте, но я же не ваш!»
«Пишите, не надо бояться».
И щелкает карандаш,
И белые бланки роятся.

2

Тень Бейлиса сухими пальцами
Перебирает старые счета —
Как крылья мельниц вдалеке по ветру валяются,
Бумажная колышется тщета.

Из ветхих рукавов туманные ладони
Разглаживают старое сукно.
Куда торопишься? Никто тебя не тронет,
Еще бесшумно черное окно,

Еще, как равные, надежды наши встретятся,
Не отворачивай же впалое лицо!
Две сигаретки в подворотне светятся —
Беседует тихарь с каким-то подлецом...

Не беспокойся, это все пустое.
А впрочем, не скажу, тебе видней.
И твой упрямый страх чего-нибудь да стоит
Перед бессильной храбростью моей.

Не отречение на огне,
 Не лобызание с палачами,
 А превращения в окне
 Всего страшнее и печальней.

Запомни, милый друг, одно —
 И зря портьерой не греми,—
 Что мы не властны над окном,
 Как властны, скажем, над дверьми,

Что не горение в огне
 И не волнение в бою,
 А превращения в окне
 Определяют жизнь твою.



НАТАЛИЯ КАРПОВА

* * *

Вот мелькнул молодой человек, поднимающий гроб.
 Схвачен он кинокамерой и в кинокадре отныне.
 Наша юность кричит, задыхаясь, из душных утроб
 Зрелых лет. Нет, тот день не уйдет, не отхлынет.

Я сейчас протяну к нему руку сквозь киноэкрэн —
 Я там тоже была, тоже плакала, слушая пенью.
 Но теперь океан разделяет нас, множество стран,
 Мы на двух континентах и рядом лишь в это мгновенье.

Был трагический день. Горе в горле стояло комком.
 Я забыла избранных, несших великую ношу.
 Кинокадры ударили в сердце мое прямым.
 Ни в кого, и в корабль наш покинувших, камня не брошу.

Память слишком жива, невозможно забыть ни о ком.

* * *

Пришли ночные страхи и в наш бесцветный дом.
 Беда тогда врывалась дверным ночным звонком.
 Скулила наша кошка, предчувствуя беду,
 Торчали под окошком у всех нас на виду

Две четкие фигуры — едва отец шагнет
За дверь — они, как тени, снимались вслед за ним.
Такое было время — судьбу в дугу согнет,
В муку ли перемелет, развеет, словно дым.
Любимый вождь народа был тверд, неумолим.
Всего три года было отпущено ему,
Но четко, как и прежде, он созидал тюрьму.
Пришли ночные страхи, ворвался тот звонок,
Как будто оборвался затянутый шнурок.
Мешок надежды рухнул. Мне шел десятый год.
О, как метались тени по дому взад-вперед!
И лестницы ступени обуглились в огне.
Отцу ломали руки, рыдали мать и брат,
Отец кричал: «Уж лучше б погиб я на войне!»
Я видела: ступени — горят, горят, горят...

ИГОРЬ КРАВЧЕНКО

* * *

Да мiнут дни сомнений и печали
и явятся на долгие года
те времена, о коих мы мечтали,
которых не видали никогда.

Пусть солнце щедро омывает берег,
к ладоням тихо ластится волна,
и каждый верит в то, во что он верит,
и поступает, как душа вольна.

ДОЖИТЬ ДО ДНЕЙ

О, как бы я хотел дожить до дней,
когда истают хвост очередей,

безликих, неизбывных, словно тень,
что тянется за нами в светлый день,

очередей, где злобные слова
растут быстрее, чем сорная трава.

В каком году прольются звуки дней,
когда друг к другу станем мы добрей,

сумеем лица встречных различать,
научимся и слушать, и молчать,

и, как бывало раньше, в старину,
прощать друг друга, признавать вину

и помнить счет, что нам диктует честь,
а не корысть, не зависть и не лесть!

Который век откроет смену дней,
когда интриг не станет меж людей,

исчезнет подлость, как ночная мгла,
в рассвете, что расправит два крыла,

растает следом сплетен снежный ком
и суд толпы, вершимый языком?

НОННА СЛЕПАКОВА

Ч А С Ы

Вот часы. Сколько лет — А скрипят, а идут! То ли да, то ли нет, То ли там, то ли тут.	То ли там, то ли тут, То ли гроб, то ли дом. Все ушли. Вся семья. Нам вдвоем вековать. То ли мать, то ли я, То ли я, то ли мать. Пятьдесят третий год. Шестьдесят третий год. Если кто и придет, То обратно уйдет. Сколько дней, сколько лет, По ночам и чуть свет — То ли да, то ли нет, То ли нет, то ли нет...
Вот семья. Вот еда. Стол и стул. Шум и гам. За окном вся беда, За окном, где-то там.	
Вот и тридцать восьмой, Вот и сорок шестой. Милый маятник мой, Ты постой, ты постой!	
Если в доме умрут, Он стоит. А потом —	

П О В О Р О Т В П О Л Е Т Е

...И радостно уже заглядывали вниз —
В осклизлую трубу шершавого бетона,
Навстречу мне. Я излетала из —
И слышала уже синкопы граммофона,
И видела, как свет блестит на золотой
И на серебряной распаханной жестянке
Со шпротами и с кильками и с той —
Анчоус или как? — селедкой в плоской банке.
Струил мне винегрет свой теплый дух свекольный,
Хоть мне бока еще корябала труба,
Сравнимая с пробитой в небо штольной,
А может, в землю врытой колокольней...
А сверху слышалось восторженное: «Ба!»
«Скорее! — слышалось.— Долгонько прогостила!
Копуша ты у нас! Лети же к нам, иди!»
И тут на всем лету глаза я опустила
В останешний разок — на то, что позади.
Там пять иль десять рук тянулись за мною,
Хрустели пальцами и восклицали: «Нет!»
Отманивали вниз приманкою земною,
И лишь одна рука не поднялась вослед:
Угрюмая, она лежала равнодушно.
Я пальцы видела — уснувшие, все пять.

И от застолья, шумящего радушно,
Шарахаясь в трубе, я повернула вспять.
И оскорбленные мне вслед скопились лица,
Мне их ругательный был слышен разговор:
«Какой-то там руки решила добудиться!..
Дуреха, ждем тебя, не тронем твой прибор!»

СТАРОМУ ДРУГУ

Как рано в жизни начало темнеть,
Как зябко потянуло холодком...
Ты позвони, зайди, расставим снедь,
Побалуемся кофеем, чайком.

А то и просто так, без кофейка,
Для сердца вредно: кофеин, теин...
Поговорим — дорога далека,
Я шла по ней одна и ты один.

Как поздно в жизни начало светать —
Так тяжело, неохотно, что потом
День даже вовсе может не настать...
Поговорим иль помолчим о том.

Поговорим о том, как шли да шли,
С кем рядышком, а кто нас обгонял,
И кутал нас в ликующей пыли,
И на дорогу денежку ронял.

Я ни монетки не подобрала,
Ни пяточка, — Господь оборони.
Ты если подбирал — твои дела,
И если двушку поднял — позвони.

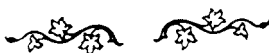
ПРОЕКТ НАДПИСИ К ПАНТЕОНУ

Памяти Интеллигенции,
Что бесправным раздала
Даровые индульгенции
На расправные дела;

Искаженному достоинству,
Отомкнувшему цветник,
Сократив дорогу воинству,
Чтобы перло напрямик;

Корчам творческого гения,
Что страдал за всю страну
И еще до обвинения
Признавал свою вину;

Тем, кто нелицеприятием
Пуще Бога был томим:
Тот, по крайности, распятием
Не командовал своим...



ЦЫГАНЕ

I

По бессарабии двора
цыгане вечные кочуют.
Они сегодня — та-ра-ра —
у нас нечаянно ночуют.

Шатров у них в помине нет.
Костры у них малы, как свечи.
Они укладывают в снег
детей на войлочные вещи.

Где гам? Элегии фанфар?
Легенды? Молнии? Ва-банки?
Одна семья. Один фонарь.
И, как фанерная, собака.

На дне стеклянной темноты
лежит Земфира и не дышит.
С кем вы, принцесса нищеты,
лежите? Вас Алеко ищет.

Ему ни драки, ни вина.
Он констатирует уныло:
«Моя Земфира неверна
ввиду того, что изменила».

Кукуй, Алеко, не кукуй,
а так-то вот, таким манером,
а изменила на снегу
с неглупым милиционером.

Ты их тихонечко нашел,
под шубой оба полуголы, —
ты не жонглировал ножом,
ты их сердца сжигал глаголом!

Ты объективно объяснил,
ты деликатен был без лести,
Земфиру ты не обвинил,
милиционер рыдал, как лебедь.

По бессарабии двора
цыгане и не кочевали.
Потомки Будды или Ра,
они у нас не ночевали.

Наш двор как двор, как дважды два —
полуподвальные пенаты,
а на дворе у нас трава,
а на траве дрова, понятно.

Мы исполнительно живем,
и результат — не жизнь, а праздник!
Живем себе и хлеб жуем.
Прекрасно все. И мы — прекрасны!

Мы все трудящиеся львы.
Одни цыгане — тунеядцы.
Идеология любви,
естественно, им непонятна.

Земфира, ты — Наполеон,
с рапирой через мост Аркольский!
Любой из нас в тебя влюблен —
и человек, и алкоголик.

Но мы чужих не грабим губ,
нам труд и подвиг — долей львиной!
Мы не изменим на снегу
себе, отечеству, любимой!

А тот милиционер, а тот,
милиционер тот знаменитый,
он — аномалия.

И то —
он изменил,
но извинился.

Играй, гитара!
Пой, цыган!
Журчите струны, как цикады!
Все наши женщины — обман.
Их поцелуй — как цитаты.

Они участвуют всерьез
в строительстве семей,
все меньше
цыганских глаз,

цыганских слез,
цыганской музыки и женщин.

И я один. В моей груди
звучат цыганские молитвы.
Да семиструнные дожди
дрожат за окнами моими.

1964



ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ

То ложе имело размеры:
метр
шестьдесят сантиметров.

Был корпус у ложа старинный,
над ложем пылала олива.
О, мягко то ложе стелили
богини и боги Олимпа.
Шипучие, пышные ткани
лежали у ложа тюками.

Эй, путник!

Усталый бродяжка!
Шагами сонливыми льешься.
Продрог ты и проголодался.
Приляг на приятное ложе.

Эй, путник!

Слышал о Прокрусте?
Орудует он по округе.
Он, путник, тебя не пропустит.
Он длинные ноги обрубит.

Короткие ноги дотянет
(хоть ахи исторгни,
хоть охи)
до кончика ложа.

Детально
продуман владыками отдых.

Мы, эллины, бравшие бури,
бросавшие вызов затмениям,
мы все одинаковы будем,
все —
метр шестьдесят сантиметров.

Рост средний. Вес средний. Мозг средний.
И средние точки зренья.

И средние дни пожинаем.
И средней подвержены боли.
Положено.

Так пожелали
эгидодержавные боги.

1963



ГЕННАДИЙ УГРЕНИНОВ

СКЛАДЕНЬ

Я осеннюю рошу раскрою, как складень:
Что ни ветка — то вывих и красный накрап,
Потому что не рухлядью нынче заплатим
За ребячье беспутство и поздний нахрап.

Кто маячит сквозь осень, как будто бы кличет?
Отчего этот луч как вонзенный торчит?
То ли жизнь ускользает и прячется в притчи,
То ли память подводит и совесть молчит.

Продевается нить в паутинные пальцы,
Возникает узор и зовется судьбой...
И всегда раньше сердца опомнятся пальцы,
Собираясь в шепоть как бы сами собой.

* * *

Нас не любили...

Потопчемся малость,
Даже пошутим, не выйдя из рамок,
Чуть ли не в детстве в нас что-то сломалось
Или забилось в нору, как подранок,
Чуть ли не в школе

(ведь надо же — в школе!)

Вдруг ощущаешь в душе как прореху
Место, где носят удачливость, что ли,
Звонкость и смех,

а тебе не до смеху...

Нас не любили,
но крепко держали,
Вновь возвращали к сознанию долга,
И постепенно мы так задолжали,
Что и к банкротству склониться недолго.
Нам бы успеть над судьбой приподняться,
Благо, что носят пока еще ноги,
Нам бы за отданным вслед не погнаться
Мелкой побужкой по скользкой дороге.

* * *

Такие странные дела —
Не жаль, что молодость прошла:
Все эти скачки и бегá —
Помятые бока...
Теперь иное на уме,
Что жил не по уму,
Ведь не был даже в Костроме —
Поеду в Кострому.
Постигну ширь и высоту,
Обмыслю все в тиши,
Глядишь, и вправду обрету
Гармонию души.
Примусь бумаги ворошить,
Услышу вещей глас...
Теперь бы только жить и жить,
Да тесно и без нас.

* * *

Все шло на свете как всегда:
Шел снег — замерзшая вода.
Жизнь проходила стороной,
Происходила не со мной.
Шагал слепой, стучал слепой,
Играл в слепого сам с собой.
Шел век,
верней, кончался век —
Глядел в себя сквозь этот снег...



* * *

Я ночью вышел на крыльцо
И к небу обратил лицо —
Там все сверкало и светилось.
И среди звездных облаков,
Как муравейник светляков,
Переливалось и густилось.
А ночь была черным-черна.
Пространство не имело дна.
Неповоротливо вращалось.

И я на дне воронки сей
Вершиной был природы всей —
Ее восторженная малость.
Живу, волнуясь, говорю.
Через мгновение сгорю,
Как мотылек в огне исчезну...
Пред мирозданьем ниц и наг,
Шепчу я: «Вызвездило как!»
И тянет кануть в эту бездну.

* * *

Мои мать и отец в эту горькую землю зарыты.
Мои бабушки с дедом на этой земле сожжены.
Казаками Хмельницкого здесь мои предки забыты.
И Владимиром прашуры были на нет сведены.

Мне Татищев открыл в словаре своем слогом старинным,
Как изгнали нас в Польшу, а после вернули опять.
Нам пахать лишь однажды дозволил указ Катерины,
И два века потом все, что можно, пытались отнять.

Слуги бога-еврея «анафему» в церкви трубили,
Онемеченный царь нас чертою оседлости гнул.
Балаголы, сапожники, мы эту землю любили.
За нее шли на смерть, когда враг на нее посягнул.

Здесь, на этой земле я евреем родился однажды.
За мою спиной здесь не меньше чем десять веков.
Я на этой земле за нее и радею, и стражду.
За нее в нашем веке хватило мне бед и оков.

Как молитву, шепчу ее схожее с росами имя.
Чтоб родила она! Чтоб метели над ней не мели!
Ну а те, что считают на этой земле нас чужими,
Может, сами лишь пасынки этой нежадной земли.



* * *

Что в оправдание скажу
Рассвету зыбкому и зябнущему скверу?
Что голову повинную сложу,
Когда своей вины узнаю меру?
Что утром, проходя сквозь этот сквер,
Многоголосый крик вороний слышу?
Что не могу очиститься от скверн?
Что как ни жду, а голоса нет свыше? —

Зачем им этот несуразный бред? —
Им надо знать, что не исчезнет воздух,
Что не померкнет жизнь дающий свет,
А есть ли жизнь в других системах звездных,
Им все равно.
Им благодать дана
Не знать на свете ни добра, ни злобы,
А лишь бы небо не имело дна,
Светило солнце и не жег Чернобыль...

* * *

Незрячие слепых поводыри,
Куда ведете их, ощупывая воздух,
Не видя красок утренней зари,
Не ведая о путеводных звездах?
Как смог вас Питер Брейгель отгадать
За сотни лет до временного слома?

А время полыхает, как солома,
Но это вам — увь! — не увидать.
Ему не важно, пан или холоп,—
Огонь костра все мотылькам прощает.
Но жар пожара опалает лоб
И внутрь повернутые бельма освещает.



АЛЕКСАНДР ШКЛЯРИНСКИЙ

* * *

Лохматые курящие подростки,
Жующие чужие папироски,
Плюющие повсюду, но не в урны,
Что ждет их всех, воспитанных так дурно?

Едва-едва их сдерживает школа
(Ей не до них — сплошные перестройки)
До первого случайного укола,
До первой «героической» попойки.

Лохматые курящие подростки...
Былой войны глухие отголоски?
Печальной безотцовщины кручина?
Где следствие, а где первопричина...

Они стоят у кромки тротуара,
Чего-то ждут, чего — никто не знает,
И смесь духов и пота с перегаром
Над ними, словно облако, витает.

И я, спокойный внешне, бравый дядя,
С тоскою в сердце и на них не глядя,
Вбегаю в дом, хватаю кроху сына
И прижимаю сильно... слишком сильно.

Г О Р О Ж А Н Е

Каких бы птиц ни содержали,
К природе мысли наклона,
Мы прописные горожане
От века, месяца и дня.
Нам запах метрополитена,
Его разгоряченных шпал
Душистей скошенного сена,
Что предку ноздри щекотал.
Когда от стужи цепенеет
За городской чертой земля,
Пускай на градус, но теплее
У горожанина зима.

Я так люблю его бегущим
Без шапки, воротник у щек,
Через дорогу за насущим
Или за чем-нибудь еще.
Он вместе с городом хлопочет,
Все время курит, устает,
Придя домой, привычно почту
Из щелки пальцем достает.
И, сквозь окно в налетах сажки
Любуясь, как счищают снег,
Он растворяется в пейзаже,
Совсем как сельский человек.



ОЛЕГ ЮРКОВ

* * *

Несовершенные мой учителя!
За неоконченные песни благодарен!
В коляске Чичикова до ночи пыля,
Недоучившийся, ругает бога барин.

Недообтесанность — столь многих граждан суть.
Недопознавшие — все в прошлом копошатся.
В снегу фундаменты, осевшие чуть-чуть.
И революции никак не завершатся.

А мы-то думали — концы недалеки.
Дворцы и комплексы подведены под крыши,
Ремни отстегнуты, разжаты кулаки...
А оказалось — надо выше, выше.

ПРЕДМЕСТЬЕ

Деревня с городом соединилась накрепко.
Кварталы общие, трамвайные пути.
Колонкой высохшей, последней нотой окрика
Дорога мечена. Назад повороти.

Гляди заблудишься: заборчики, кустарники,
И мусор тряпочный пылится под ногой.
Закрты ставеньки,

бесхмельно спят ударники.
Сады охвачены цветеньем, как пургой.

Деревья ластанся, их ветви опускаются,
Почти касаются булыжных мостовых.

Калитки смазаны, собаки не кусаются.
Две квочки топают вдали от остальных.

Девчонка в свитере велосипед отладила,
С другой девчонкой о подружке говорит:
«Зачем Валерика от нас она отвалила?
Сама уехала, пусть ищет кизерит!»

Деревня милая, окраина чудовища,
С дымами, ключьями клыкастого огня!
Замена отдыха, иллюзия юдолища,
На часик с четвертью — озелени меня!



ОЛЬГА БЕШЕНКОВСКАЯ

СТИХИ В ПОЕЗДЕ

1

Только белые пятна апрельского снега
Да березы, березы — по пояс в воде...
Ну какого, Россия, тебе печенег —
Ты сама же в своей захлебнулась беде...
Даже хочется плакать, как Родину жалко,
Как ей хочется с первой полочки купить
Простоватую теплую ширь полушалка,
Где промеж васильков — золотистая нить...
Не ржаное, а ржавое нищее поле,
Все морщинки да трещинки — вдовья рука...
Божья воля на то или русская доля,
Чтобы веной больной набухала река?
Так банальна тоска, что, о господи боже,
Лбом — в граненый мираж, и сграбастать виски...
С каждым веком и вздохом все кажется больше
Несказанной, неслышанной этой тоски.

Эти горечь, и стыд, и беспомощность эта,
И шершаво на совести — как нечиста...
И как будто еще не случилось поэта —
От испуга и подвига медлят уста...

2

Что пустыми словами сорить
С высоты Вавилона и века...
Эти ветхие кровли корить
Не посмеет и пьяный калека.
Здесь у каждого что-то болит:
Жмутся в тамбурном дымном соседстве,
Потирая протез, инвалид
И художник, массируя сердце...
Что ж, такая, как видно, судьба, —
Прячу взгляд пристыженного вора:
Грусть и святость... Слепая изба
Под защитой хромого забора...
И мелькают (была! — не была?..)
Горб и ведра... Понурия, лошадка...
Валидол или дрянь из горла
Хороши от российских ландшафтов ..

3

—...Калининские мы,— соседка говорит,—
Отец наш немец ждал, — чай, наведут порядок...
Явились... Наш-то фриц — крест, как в церквах горит,
И конь — что наша печь, а не ушами прядать...
Нас, восьмеро сестер, не тронул ни одной,
Зато ему, видать, понравилась корова...
Как хватит за рога, а батя был хмельной:
«Грабители, — кричит, — катитесь поздорову!..»
А немец автомат наставил -- ну и ну,
Как есть ему в живот, а мы — реветь, как стадо...
...И как мы, — говорит, — отбились в ту войну,
Ей богу, не пойму... А Вы — из Ленинграда?

4

О, сколько можно об одном и без вины, и при вине,
И, подогретая вином, неужто истина — в войне...
О чем вы, господа, о чем,
Друг друга чувствуя плечом,
Как будто не было Эллады,
Потопа, ига, наконец...
Где мать, расспросят, где — отец,
Какие раны и награды...
И даже я (на что уж я...),
А все же школа и семья:
Горжусь, что я из Ленинграда...

ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ

* * *

Я не пойму, как можно умирать,
Когда лесов бряцающая рать
Идет в предбанник зимний, не сгибаясь,
Не ведая, не зная о конце,
Что спрятан где-то в золотом кольце,
Как курица в яйце, переливаясь...

Я не пойму того, что поняла
И с чем полжизни сухо прожила,
Ее не прожевав, куском глотая,

Я не пойму, я не умру — и ты
Не смей до срока уходить в кусты,
А сроки — только видимость пустая!

Я не пойму, как можно не найти
Тебя — и т а м! Ты только мне прости
Бульдожьё хватку зрения живого
И жесткий голос — это от простуд...
О, как мы живы, как цветы растут,
Как лист желтеет,
Как нежнеет слово!

* * *

Кличка «Молодость» пишется через дефис
Рядом с родом занятий и чувством вины.
Долгожителем юным вручается приз
В виде странно скрипящей сутулой спины,

В виде школьной одежды христовых невест,
В виде послуха, чтобы по форме, как все,
В виде этих стоячих просвистанных мест
На площадке, подножке и на «колбасе»...

В затянувшейся присказке жизнь улеглась...
Наплевать! Все, что прожито, прожито впрок,
Так что мнится луна — как кутузовский глаз,
А не будто бы ситный пайковый пирог.

Нарекут светло-русым — не станешь седым,
Записав свою юность в былые грехи...
Так что есть еще шанс: помереть молодым,
Внукам песню спевая на эти стихи...

* * *

Такая сирость тщится вдоль дороги
За жизнь сойти — что опускаешь взгляд.
Так к непогоде опушают ноги
И вывихи привычные болят.

Но, Господи! Не слушай наших жалоб
И не спеши ломать свою печать:
Здесь армия архангелов стояла б
В смущении, не зная, как начать...

Грунтовая, железная дорога,
Размытые воздушные пути —
Смешалось все! И что теперь — от бога,
На этих перекрестках не найти.

Но вновь ведешь рукой своей слепую
По спискам наших рек, полей и гор,
Где трактора спустились к водопою
И сивый мерин залил свой мотор.



НАТАЛЬЯ ЛАНКОВСКАЯ

ПОДРОСТОК

Горят огни и звезды,
а месяц одинок.
На улице подросток —
один, как в небе бог.

Ложится свет кругами,
и он стоит в кольце —
с жестокими глазами
на женственном лице.

И в том, и в этом мире
такая глушь — замри!
И в том, и в этом мире —
лишь мрак да фонари.

В карманах руки грея,
зрачками ночь сверля...
И шарф на нежной шее —
как спящая змея.

РОМАШКА

Последняя ромашка на покосе,
над венчиками скошенных цветов —
как белая старушка на погосте,
в плену у перекошенных крестов.

Лепечет, имена припоминая,
седую клонит голову свою:
«Вон Лютик, да-а... А вот — Иван-да-Марья...
А это кто?.. Ты глянь, не узнаю!..»

КОРОЛЕВЫ

Кто помнит на даче о школе!
Две девочки, Таня и Оля,
нарядное что-то надев,
играют в саду в королев.

Ведь им объясняли, наверно,
что быть королевами скверно,
что время монархий прошло,
и девочкам надо учиться,
а после — усердно трудиться
заморским буржуям назло...

Но шлейф из косынок по травам
за Таней ползет величаво,
на Оле — венец из цветов;
и юный сосед наш по даче,
плебей (и мятежник, тем паче),
сам стать монархистом готов.

В О Р О Б Ь Ю

Ну как, брат воробьишка, перекрыли нас с тобой?
Скворцы перекричали, дрозды пересвистели.
Мы тоже любим солнышко и воздух голубой —
да только не умеем пускать такие трели.

Что замолчал, приятель? Не слышат? Не беда!
Чирикай на здоровье! Вот мне молчать полезно...
А с неба так и льется! Там жаворонок — да...
Шельмец, умеет как-то — и вовремя, и честно.

Давай, давай, голубчик, наяривай, ликуй:
Какая твоя должность, такая и работа!
А где-то за березками: «ку-ку, ку-ку, ку-ку!»...
Не бедно и не скупно, но с паузами что-то...



ОЛЕГ ЛЕВИТАН

* * *

Вышли мы из времени, из того, что названо
временем застоя.

Сколько ж уцелело нас для витийства
связного —
двое или трое?

Где ж другие — прочие, до стихов охочие,
с кем мы начинали
в строки чувства вкладывать, ставить
многоточия,
вглядываться в дали...

Были споры шумными, застилал застолия
дым табачный густо...
Пусто за спиной моей, впереди тем более,
справа-слева пусто.

Как в финале «Гамлета»:
«Далее молчание...»

Белая страница.
Я хожу по прошлому, по следам отчаянья.
Вглядываюсь в лица.

ЗА СТОЛОМ

Гость смотрел на всех с легкой улыбкой
и, граненую стопочку в рот
опрокинув, закусывал рыбкой
и просил передать антрекот.

Но чего я никак не забуду —
как он вдруг за столом заявил,
что всю жизнь свою всем и повсюду
только правду всегда говорил.

Он военный моряк, но в отставке,
и торговый, но тоже в былом.
Он сказал это все для затравки,
чтобы спор поддержать за столом.

Видно, мнилось ему, как ребенку,
что и все, подливая питья,
закивают согласно вдогонку,
мол, и я только правду, и я.

И хотя он ко мне обращался,
лишь меня своей речью смущал —
весь народ в стороне не остался,
весь народ за столом замолчал —

ибо мы-то все кто? Не лгуны же!
Но по спине скользнул холодок,
и глазами — все ниже и ниже.
Так вдогонку никто и не смог...

В МЕТРО

На Удельной ты сядешь в метро
и, под рокот соседской беседы
задремав, полетишь, как ядро,
в направлении Парка Победы.

А напротив — девчоночий лик.
То ли едет она, то ли снится.
Ты на Невском очнешься на миг,
а на месте девчонки — девица.

Та в веснушках была и юна,
эта — в блеске косметики броской.
А на Фрунзенской глянешь из сна —
едет женщина с полной авоськой...

Лишь отметишь, зевнув, что они
друг на друга все трое похожи...
Двери хлопнут, исчезнут огни,
сквознячок пробежится по коже,

и навеет внезапно во сне,
что вот так, если вдумать здраво, —
время жизни летит, как в окне
струны кабелей чохом направо,

что, пока ты в дремоте витал,
сам свою прозевал ты, беспечный, —
и скрежещет колесный металл,
тормоза перед самой конечной!..

Тут ты вздрогнешь, мотнешь головой
и ресницы раздвинешь — и точно! —
вот старуха сидит пред тобой,
все в морщинах лицо и отчетно!

А уж больше и нет никого —
знать, и впрямь окончанье маршрута!
И в стекло на себя самого
страшно вато взглянуть почему-то...

С Т О Л

Есть у нас стол обеденный, он же — письменный и читальный,
довоенного производства, то есть сделан с душой.
Он достался мне вместе с женой, как приданое, стол капитальный
и, главное, — очень большой.

Это очень ценное свойство стола, жаль, что нету таких в продаже,
ибо ссоримся мы, как в любой семье, — честь по чести,
и хотя жена у меня и не дурочка, и работает в Эрмитаже —
глаза ее запросто бывают на мокром месте.

И если я что-то брякну, не успев обдумать последствия,
мгновенно ее ресницы блестят от слез,
и тут ее тянет на рукоприкладство — это как сумасшествие,
ибо сердиться она умеет только всерьез.

Ибо даром, что ростом мала и моложе меня годками,
ибо даром твердят, что еврейки учтивы и кротки,
моя женушка отличается крепкими кулачками и коготками —
я боюсь ее, как щекотки.

И хоть я — поэт, член Союза писателей и так далее,
я бегу от нее вокруг стола обеденного, задевая стулья,
и при всей правоте своей вечно проигрываю баталии,
ибо ярость ее вылетает, как пчелы из улья.

И при всем при этом, вокруг стола от нее убегая,
я оглядываюсь на нее и до смутной дрожи
понимаю, роняя стулья, что вот такая
мне она и есть всех других милей и дороже.

И вздымаю я руки — сдаюсь! Ведь люблю, люблю же!
И зажмуриваюсь у стены — сейчас начнется!
Но и ей что-то видится издали в собственном муже,
и она еще всхлипнет разок по инерции и улыбнется...

РИММА МАРКОВА

* * *

Папиной памяти

Путь топографа тернист,
болен каждый нерв его.
Как ты верил, коммунист
года сорок первого!

Свет рубиновый разлит
над пустыми лицами.
В этом мире мы росли,
дети экспедиции.

Втиснут в сеть координат
путь прямой, достойный.
...Но не помнит красных дат
техник, бесконвойный.

Под несбыточных надежд
заревыми вспышками,
меж охранными и меж
буровыми вышками.

* * *

Ногою нащупай тропу.
Сквозь липкую ласку метели
скорей бы добраться до цели,
не сгинуть, как пыль на ветру.

Ужели мы выживем здесь?
Но живы и счастливы вроде.
И что-то великое есть
в разнузданной нашей природе.

В мерцании зимних времен,
в безвыходных этих просторах,
в бескрайних снегах, среди которых
схоронено столько имен.

Неужто мы выжили здесь,
не сдавшись февральской угрозе,
и солнца полярного жесть
опять дребезжит на морозе?



НАТАЛИЯ ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА

У КЛАДБИЩА

В истлевших пальцах — призрачная роза...
Бесплотное полночное виденье
той фрейлины, что вызывала слезы
и страсть — тому назад семь поколений.

А рядом — бескозырки и бушлата
и пулеметных лент соединенье —
сын революционного Кронштадта
он был — тому назад два поколения.

Две бедных тени оказались рядом,
свое соседство осознать не в силах.
Потерянно бредут вдоль автострады,
проложенной по бывшим их могилам.

Почти что растворяясь в лунном свете,
бредут они, беседуют негромко...
И фрейлина вздыхает: «Дети, дети...»
И чертыхается матрос: «Потомки!..»

* * *

— Мама, мне снился концлагерь.
— Что ты, зачем про это?..
— Там развевались флаги,
не помню какого цвета.

Снилось — бредем по снегу,
хомут натирает шею.
А в чем я виновна, мама,
о том я сказать не умею.

— Что ты, девочка, что ты.
Тому уже сорок с гаком,
с той ночи, когда стучали
в двери, — и дед твой плакал.

— Мама, но я ведь помню,
мама, но я ведь вижу...
— Ты начиталась книжек,
ты начиталась книжек.

* * *

На лампе бронзовый завиток,
колпак, рассеивающий тьму...
И существует домашний бог,
и не завидую я ему.

Только на миг в углу прикорнул
(не переделать домашних дел),
глядь, а хозяин ушел на войну
и не вернулся. И дом опустел.

Стоит ли бронзу мелом тереть,
дрожжи вспенивать на пирог,
если без спроса война и смерть
переступают любой порог?..

Если само понятие «дом»
медленно уплывает во тьму.

Дом — это место, где мы живем
ныне, а «до» и «потом» — ни к чему.

Но если бы знала, что мой портрет,
на стенку повешенный в прошлом году,
здесь провисит еще много лет
после того, как совсем уйду.

И кто-то, кого и в помине нет,
но в этом доме и мне — родня,
глядя на желтый старый портрет
по имени назовет меня.

И лампы бронзовый завиток,
как прежде, к празднику будет сиять,
и улыбнется домашний бог...
Если бы знать...



СВЕТЛАНА РОЗЕНФЕЛЬД

* * *

То игриво, то легко, то возбужденно
По карнизу и по крыше, по балкону
И по листьям перламутрово-зеленым
Капли падали и падали, звеня.
Мне почудились — наверное, сквозь дрему —
Душный запах и тепло родного дома,
И теснилась вокруг меня толпой знакомой
Вся еврейская и русская родня.

Дядя Изя, тетя Валя, дядя Муля,
Неулыбчивая грозная бабуля,
Мудрый дедушка с газетою — на стуле
И двоюродные сестры и братья.
И одно лицо мелькало, исчезая,
Непохожестью и схожестью пугая,
И шептали голоса, изнемогая:
«Подойди, ведь это мамочка твоя».

И сплетались тесно праздники и тризны,
Ссоры, споры, фортепьяно, вальсы, твисты,

И сходились в дружном шуме атеисты
За пасхальными столами двух сортов,
Где соперничали тейглахи и «пасхи»,
Яркий цимес, яйца огненной окраски,
Рыба «фиш», кулич особенной закваски,
Сочность русских и напев еврейских слов...

То устало, то печально-монотонно
Капли падали в пространстве заоконном,
То со стуком, то со вздохом, то со стоном
Уходили эти звуки от меня.
И пространство в душевной комнате редело,
И зияли черно-белые пробелы,
Исчезала, улетала, улетела
Вся еврейская и русская родня.

Утро солнечно высвечивало шторы,
Петухи кричали зычно: час который?!
Под окном звучали смех и разговоры,
Клокотала в сточном желобе вода.
И я знала: предстояло мне проснуться,
И в свое сиротство заново втянуться,
И сказать себе: ушедшим — не вернуться,
И наследство их транжирить без стыда.

* * *

В прятки играть до рассвета
Здесь, на крутом берегу.
Где ты, любимый мой, где ты?
Он отвечает: «Бегу!!!»

Крылья тяжелые веток
С неба смахнули звезду.
Где ты, любимый мой, где ты?
Он отвечает: «Я жду».

Больно от яркого света,
Душно в лесу и в саду.
Где ты, любимый мой, где ты?
Он отвечает: «Иду!»

Ни огонька, ни просвета,
Слабый фонарик в горсти.
Где ты, любимый мой, где ты?
Он отвечает: «Прости...»

* * *

В приемнике — окошко света,
Шкала и черные штрихи.
Из девятнадцатого века
Плывут знакомые стихи.

Вселяют строки в душу смуту,
То расширяясь, то длинясь,—
Мне показалось на минуту:
Они написаны о нас.

Ах, что ты знаешь, друг старинный,
О нашей жизни и грехах,
О чем так горько и так длинно
В своих печалишься стихах?

О чем ты можешь знать и ведать?
Каким предчувствием томим,
Предвосхищаешь наши беды,
Прикрывшись временем своим?..

Но мощный голос человека
Звучит, смещая времена,
Из девятнадцатого века,
Как из соседнего окна.



ЗОЯ ЭЗРОХИ

М Е Ч Т Ы

Квартира светлая, маяча
В недостижимой судьбе,
Неуловимая удача,
Дай помечтаю о тебе.

Там антресоль и кладовая
Полны нездешней темноты,
И, со шкафов везде свисая,
Котов колышутся хвосты.

Квартиры облик аккуратен,
Магнитофон ласкает слух,
Из кухни жареных курятин
Неотразимый льется дух.

И деток в детской закрывая —
Пусть скачут там до потолка, —
Дарю им двадцать три трамвая
И тридцать два грузовика.

Лениво плещут воды ванны,
Цветов упитанны стволы,
Повсюду кресла и диваны,
Кровати, стулья и столы.

И так я счастлива во браке,
В семейном счастлива кругу,
Что в полуночном полумраке
Уснуть от счастья не могу.

П Л Е Н К А

За этой суматохой, спешкой, гонкой
Мне с жизнью просто некогда дружить.
Как будто все кругом покрыто пленкой
Усталости и нежеланья жить.

Особенно крепчает эта пленка,
Когда в тридцатиградусный мороз
Я вижу исхудалого котенка,
Что к батарее лестничной прирос.

Особенно тончает эта пленка,
Когда удачно сложится стишок
Иль сонного тяжелого кукленка
Высаживаю ночью на горшок.

Н Е Р А С К И С А Й!

*И в раковом корпусе стены
трясутся от смеха...*

О. Киреенко

Стены горестной тюрьмы
Не выносят мрака.
Три холеры, две чумы
И четыре рака!

В пересказыванье бед,
Вздохах, пересудах
Вдруг гремит безбожный смех
Женщин одногрудых!

У Тамары метастаз
Бродит под халатом,
А каким Тамара нас
Потчует салатом!

У Ирины каплет гной
Сквозь бинты и ватки,

Но, подкрашенные хной,
Волосы в укладке.

Нам пока еще дано
Не менять привычек,
И посматривать в окно,
И кормить синичек.

На исходе февраля
(Ветки, гомон, иней)
Ярче кажется земля,
Праздничней, наивней.

И синички тут как тут,
К вящему восторгу.
И покойничков везут
К солнечному моргу.





ЛАРИСА РЕЙСНЕР

КРАТКИЙ ОБЗОР НАШЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

(Акмеизм)

I

Искусство гем прекрасней,
Чем взятый матерьял
Бесстрастней:
Стих, мрамор и металл.

Этим четверостишием начинается знаменитый поэтический манифест Теофиля Готье, ставший художественной программой французских «парнасцев»¹ и объединивший у нас в России молодую эстетическую школу под общим названием «акмеизма». На русского читателя, избалованного небрежным, подчас бессмысленным, но зато музыкальным стихом Бальмонта, Минского, А. Белого, требование ясной и совершенной формы повеяло крещенским холодом, неприятной сдержанностью, почти косноязычием.

Все, к чему мы привыкли: мистическая расплывчатость, сумерки и настроения, оттенки и повторения, словом, все, заменявшее нашим символистам и форму и содержание, — неожиданно оказалось «историческим прошлым», в роли ворчливой бабушки, терпимой, но все же помещенной где-то на антресолях.

«О, закрой свои бледные ноги». Еще недавно эта фраза звучала своеобразным вызовом, чуть ли не дерзанием, новизной. И что же?

¹ Из них виднейшие: Леконт де Лиль, Теодор де Банвиль, Барбей д'Оревилли и другие

Не прошло и десяти лет, «бледные ноги» забыты, осмеяны, стыдливо куда-то спрятаны. Наши «великие» — Бальмонт и Брюсов — поэты, стяжавшие почти неограниченное признание, так полно вкусившие от всех земных наград, — корифеи, «Пушкины», превосходительные лирики, — что случилось с ними?

Бедные, вымученные книги, жалкие слова, нудные рассуждения! А эротика!? Невольно вспоминается желчная страничка Золя. Бедный, полумертвый *conte* Muffat, готовый рассыпаться от болезней и дряхлости, но запутавшийся в кружевах и шелку прославленной Naná!

Всякий знакомый с «детским блеском очей», скандальными стихами В. Брюсова, которые он осмеливался посвятить отрочеству и детству, не найдет наше сравнение нескромным или преувеличенным.

Но довольно о прошлом.

Что же такое, этот «акмеизм», так неожиданно появившийся и представленный тремя крупными именами Н. Гумилева, Анны Ахматовой и О. Мандельштама.

Критика единодушно навязывает нам одно

надоедливое определение: «Они — форма, прежде всего форма, ничего, кроме формы, все в ней и для нее». Вот где корень зла, причина холодной лирики, сдержанного пафоса, иронии и гордости.

Бедная критика! Разве только звучной оболочкой, ямбами, хорейми и анапестами отличается Гете от Пушкина, Эд. По от Шекспира? Разве вообще допустимо вульгарное деление красоты на форму и содержание, ремесленное тело и мистическую душу? В голосе музыки нельзя прощупать механизм «органчика», слово чудесно соединило музыку с идеей, звук, пропорцию, колебание — и отвлеченное, идеальное понятие. Единство — первый признак совершенного, первое правило гармонии, а нам советуют портняжные приемы, обобщения, заимствованные у философии прошлого столетия.

Нет, не форма, а нечто гораздо большее роднит поэтов или делает их ожесточенными врагами.

Между тем есть странная ирония в похвалах и нападках, которые сопровождают поэта в начале его поприща.

Особенно карикатурна в этом смысле карьера О. Мандельштама, позже других замеченного и чрезвычайно изруганного поэта.

Каждое слово, каждую строчку его стихов надо произносить полно и медленно, как певец произносит трудную музыкальную фразу. И это не из уважения к таланту автора, а ввиду той действительно необычайной победы, которую одерживает форма над бесформенным и безобразным в каждой строфе, в каждом метре Мандельштама. Под ясным, хрупким зданием его стиха так близко, так очевидно присутствие темной и беззлагольной силы, которая, питая вдохновение избытком своих мощных голосов и красок, с другой стороны, так властно зовет назад, к стихам и хаосу, к «первооснове жизни», к прозрачной, всепоглощающей глубине, где нет времени и пространства, числа и меры:

Останься пеной, Афродита,
И, слов, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!..

Погрузиться в молчание, Silentium, огромный омут, где все «прозрачно и темно», где слово претворено в музыку, где вечная форма поэта, его книдская Афродита — только пена, «бледная сирень в мутно-лазоревом сосуде» — и оттуда вернуться к поверхности, к солнцу — вот в чем творческий путь Мандельштама.

То всюю тяжестью оно (сердце) идет ко дну,
Соскучившись по милому иле,
То, как соломинка, минуя глубину
Наверх всплывает без усилий...

Из всех путей художника — это самый мучительный и неверный. Так обширны пространства души, ее подъемы и возмущения! Поэт — маленький шахтер, искатель таинственных россыпей, погруженный в самые недра подземного, подсознательного царства.

За ним — лабиринт фантазии, слепых ощущений, блуждающих догадок, которые должны стать образами, словами, искусством. Сколько нужно тоски и желания, чтобы не погрузиться навсегда в мягкую, вечную ночь, чтобы не бросить скудный фонарик, единственный залог возвращения к жизни.

Ничему не надобно учить,
Ни о чем не надо говорить,
И спокойна так, и хороша
Темная звериная душа.¹

Но зато когда победа одержана и на смутном, пепельном фоне настроений все яснее проступает чудесный «отточенный» рисунок слов, какая радость «в сознании минутной силы, в забвении печальной смерти»!

Да, Мандельштам часто колеблется, и часто просит своего бога «да минет меня чаша сия», и отрекается от призвания, и клянет свое искусство! Но кто имеет право его осудить?

В его поэзии, пусть индивидуальной, пусть отрешенной от жизни и погруженной в себя, нет ни одной ноты плотной и сытой, какими обыкновенно страдают «мастера».

Разве уверенность, ремесло, привычное со-

¹ В ряде случаев Л. Рейснер приводит неточные цитаты

вершенство — знает эти долгие провалы в ничто, в пустоту и отчаяние, ради

Сознания минутной силы,
Забвения печальной смерти.

И, как выздоравливающий после трудной болезни, М. полон необычайной, светящейся нежности¹ к людям и вещам, в минуты своего трудного² достижения.

Тогда оживает все: и привратник-скиф у тяжелых ворот, и Адмиралтейство, и площадь с сугробами, и «оперные мужики», даже мертвая карта Европы, ее сухие, колючие очертания.

Взгляд необычайно зоркий, способность освещать мир не снаружи, а всегда изнутри, невесомым, душевным светом,— все это редкий дар, который сопровождает только большие дарования.

Но... да, есть еще одно «но», быть может, самое главное.

Нельзя постоянно опустошать свое сердце, чтобы оно стало пустым и легким, способным впитать и сохранить все звуки, все шорохи и всплески природы, самые нежные и заглушенные ее голоса.

...И хрупкой раковины стены,
Как не ж и л о г о сердца дом,
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...

Нельзя долго и безнаказанно расточать себя в постоянном томлении от света к ночи и от ночи к свету, нельзя жить на Голгофе и творить под пыткой.

Религия и мистика, «холод католической тонзуры» и «дивный град», где

...голубь не боится грома,
Которым церковь говорит;
В апостольском созвучьи: «Roma»
Он только сердце веселит...—

все это не случайная склонность к обряды и пышности, но настоящая опасность и большое предостережение.

¹ Первоначально в рукописи было — р а д о с т и, зачеркнуто.

² Первоначально в рукописи было — в ы с ш е г о, зачеркнуто.

Но если Мандельштам действительно художник, которого обещает его книга «Камень», он не соблазнится тропинкой религиозного успокоения, и творчество его вступит в период обширных замыслов и работ.

Недаром с такой силой мечтал он о празднестве искусств, о празднестве Мельпомены, когда «отдернется мощная завеса»,

Расплавленный страданием, крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованием раскаленный слог.

Только здесь освобождение от «возвышенного косноязычья», первоначальной, летаргической немоты.

II

Анна Ахматова — первая поэтесса новой, Акмеистической школы, не ставшая, однако, предметом ожесточенных нападков и односторонней критики.

Ее признали охотно, как женщину-лирика, впервые заговорившую о любви сдержанным и резким тоном художника. Женское начало ее поэзии сказалось, пожалуй, только в отсутствии чисто интеллектуальных, отвлеченных и общих тем, которые так мягко просвечивают у Ал. Блока, а у Гумилева и Мандельштама поставлены остро и прежде всего.

Даже сознательный, вполне определившийся индивидуализм Ахматовой не покоробил читателей и не привлек зловредного¹ внимания общественно настроенной критики.

В ее поэзии нашли нечто общедоступное и всегда понятное, и притом в области чувства и чувственного познания. Понравилась лирика, вполне приспособленная к жизни, любовь не осуждающая, не ревнивая и безгневная. Немногие в равнодушии и терпимости умеют различать презрение, в самообладании — боль и горечь.

А между тем какая отчаянная, полная тоска в «Четках» Ахматовой. С первой встречи

¹ Исправлено синими чернилами на з л о р а д н о г о.

Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово
И его сказала напрасно.
Отошел ты, и стало снова
На душе и пусто и ясно...

С каждой строчкой, с каждым стихотворением все яснее образ любви, пришедшей как тяжелая болезнь, все уродуя, все коверкая на своем пути, ломая крылья творчеству и мысли.

О, как ты красив, проклятый!
А я не могу взлететь,
Хоть с детства была крылатой.

Вот он, конец свободы и одиночества! Теперь — зачумленная, «бражница» и «блудница» — только женщина, которая «одела узкую юбку, чтобы казаться еще стройней!». Ей — все унижения, все обиды этой не единственной, страстной и недолгой привязанности:

Все равно, что ты наглый и злой,
Все равно, что ты любишь других...

Обман уже нельзя скрыть, трещины так очевидны, так безобразно они обнажаются.

И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.
Как я знаю эти упорные,
Несытые взгляды твои.

Но человеческий дух, как он ни загнан туда, «где под душным сводом моста стынет грязная вода...» — все-таки преодолагает и выпрямляется. И уносит с собой, в свои торжества и странствия не месть и злобу, но ясную и очищенную память:

Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах — мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться ни забвение, ни страх.

Веры нет в этих гордых и прелестных стихах. Много победы и воли, много человеческого достоинства и призвания: но ничего похожего на надежду, милость и обещание. Так говорят о мертвом.

И отныне — какая горькая радость: ничего не давать и ничем не жертвовать, но брать, брать жадно, во имя большого таланта, которому нужен новый опыт, постоянная пища чувства и настроения:

Прости меня, мальчик веселый,
Совенок замученный мой!
Сегодня мне из костела
Так трудно уйти домой.

И наконец вот она и достигнута, громкая, но «горькая слава». Слава тому, чью душу выпили «как соломинкой», слава — за «безнадежно одряхлевшее сердце», за «живую душу», «потерянную» и «нищую». Но ничего! Все притупится и затянется ржавой тиной, замолчит и заскучает.

Замечаю все как новое;
Влажно пахнут тополя.
Я молчу, молчу, готовая
Снова стать тобой, земля.

III

Со дна души, из ее глубокого подполья, к слову, образу и размеру — так пишет О. Мандельштам.

Анна Ахматова уже прекрасно знает внешний, реальный мир, но видит и ценит его только в очень узких пределах своего настроения, вкуса и каприза.

Совсем иначе слагается вдохновение третьего и наиболее крупного поэта-акмеиста, Ник. Гумилева.

Косная материя, ее вечный и глухой сон — не тяготеет над его творческой волей.

В непрерывном движении мира вещи и тела только мимолетные струи и брызги, для которых жизнь и смерть — временное и случайное обличие. Царит — дух, воля и сознание, перед ним должно смириться слепое тело, охваченное страхом смерти, предчувствием временного уничтожения.

Расцветает дух, как роза мая,
Он, как пламя, разрывает тьму.
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему...

С совершенно языческой смелостью, подобно Платону, который над бранным и смертным миром создал царство чистых и абсолютных идей, Гумилев наделяет искусство безграничной¹ свободой, идеальным бытием, которое не знает уничтожения и не боится вечности.

Все прах. Одно, ликуя,
Искусство не умрет.
Статуя
Переживет народ.

Только «искусство» познает Бога в человеке, несмотря на его убогое и мгновенное существование, только художник, меняя образ, рифмы и метр, это стройное и вечно молодое тело поэзии, «расковывает косный сон стихий».

В его руках — судьба вселенского движения, он волен остановить мгновение, вышедшее из мрака и в мрак уходящее; любви и радости — подарить бессмертие.

И ее, любимую, «чье имя — пенье», «чье тело музыка», ее, дорогую, «с слабыми, узкими руками» и «как мед двухтысячелетний, душистыми, черными волосами» — и ее может спасти от «беспощадного исчезновенья» только гениальная воля и перевоплощение. Ему одному² ведомы

.....слова —
Землетрясения, громы, водопады,
Чтоб и по смерти ты была жива,
Как юноши и девушки Эллады.

Да, пока жив древний Егос, пока в храме духа «торжественном», «гранитокрылом» стучат «молоты и пилы», пока «над сумрачными алтарями» пылают «огненные знаки» — человек не проклят и не забыт. Над его жизнью и любовью — благословение творчества, дыхание чистого и бессмертного Духа.

Пока они живут на свете,
Творя обряд святого сева,
Мы смело можем быть как дети,
Любить друг друга, Женевьева...

Нет предела царству формы.

Все, что здесь на земле попирает тело, оскорбляет и насилует жизнь, превращая ее в кровавую свалку, — обращается в ничто, теряет значение и смысл перед восходящим солнцем Духа, которое светит так далеко от людских радостей и страданий, вне времени и пространства.

Во время боя и среди наступления, проходя «по дымному следу отступающего врага» в стране, «что могла быть раем, и стала логовищем огня», всегда и везде

Солнце Духа наклонилось к нам,
Солнце Духа благостно и грозно
Разлилось по нашим небесам ..

И не совесть, не различие добра и зла хранит победителя от насилия, останавливает руку, занесенную над слабым и поверженным. Только дух, религия сильных, отвлеченная мысль¹, поставленная над миром и человечеством, одарена бессмертием:

Я, носитель великой мысли,
Не могу, не смогу умереть...

Сводя все к господству идей, побеждая прах и плоть холодным оружием абстракции, Гумилев идет навстречу двойной опасности: полному циническому примирению с данной социальной средой, какою бы она ни была, ввиду неоспоримого совершенства иного мира², чистой мысли и творчества.

И, во-вторых, — художественному банкротству и обеднению.

Действительно, в безвоздушном пространстве всякая гармония вырождается в мертвую схоластику, катехизис, живые мощи.

Фантазия, оторванная от живого, народного наречия, бледнеет, замирает, чахнут ее живые ключи, слово обращается в торжественный соляный столб. На место красок и звуков — приходит «каких-то острых линий бесконечность», угловатые, сухие схемы, бездушные, ломаные плоскости.

¹ Первоначально в рукописи было — с о в е р ш е н н о й, затем зачеркнуто.

² Первоначально в рукописи — Т о л ь к о т в о р ц у

¹ Первоначально в рукописи — ф о р м а, затем зачеркнуто.

² В рукописи перед этим словом зачеркнуто — н е з е м н о г о и н е п о г р е ш и м о г о.

В океане первозданной мглы
Нет голосов и нет травы зеленой,
А только кубы, ромбы да углы
И злые, нескончаемые звоны...

И Гумилев отлично чувствует тягостное одиночество, пыльную музейную красоту, боится ее, как бреда, как неизлечимой душевной болезни.

...как некими гигантами,
Торжественными фолиантами
От вольной жизни заперт в нишу,
Ее не вижу и не слышу...

Вот отчего с такой ослепительной ясностью предстала ему «Муза Дальних Странствий», богиня морей и земель, еще не открытых человеку, покровительница пешеходов и мореплавателей, охваченных горячкой движения и новизны

В руках изменницы
В хрустальном кубке нектар пенится,
И огнедышащей беседы
Ты знаешь молнии и бреды...

Но что же будет, когда гордые корабли вернутся в гавани, не найдя алмазных гор, но зато с грузом мертвых надежд, с печалью, которая напоминает о том, что «жизнь не удалась», и, наконец, с признаниями оскорбленной, утраченной и распятой любви, — «Есть на море пустынным монастырь, из камня белого, золотоголавый». Сколько раз уставшее человечество грезило его золотым и белым покоем, сколько раз просило прощения и отдыха, милости и благоволения «к простым словам своим».

И¹ действительно находило пустынную и светлую келью, забвение² и безоблачный конец.

Но поэту — поэту монастырь не нужен.

Для него другие законы, то есть которые сливают живое и мертвое, Бога и человека, на небеса переносят смиренное право жизни, и на земле из праха и нищеты возводят див-

ные помыслы, неувядающие дела. В одном из лучших своих стихотворений Гумилев, быть может, невольно, предчувствует это высшее слияние жизни и творчества.

От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,
Но сильного слезы пред богом не правы,
И бог не слышал твоего отреченья¹.

Говоря об «учителях» Акмензма, нельзя не сказать несколько слов и об эпигонах.

Как всегда в таких случаях именно у них, благодаря гораздо меньшему таланту, резко и наглядно сказываются недостатки школы. Начнем с наиболее известного, как по всевозможным художественным и малохудожественным изданиям, так и по двум сборникам стихов, — Георгия Иванова.

От поэтов, служивших ему образцом, Г. Иванов сумел взять немного: правильную разнообразную форму — и чувство стиля.

Там, где Гумилев видит отвлеченную форму, которую и ставит над собой, — Иванов идеализирует действительность, подводит углем ее рябое лицо, широкую талию шнурует французским корсетом, а под глазом, простодушным и немигающим, кокетливо наклеивает мушку маркизы или пастушки.

Немного пудры и румян, желтый паркет дедовского зала, бабушкин музыкальный ящик — и реставрация удалась. Вот-вот скрипнет дверь, зашумят гости неискусными, но туго накрахмаленными робами, и, голосом несколько высоким и скрипучим, Monsieur Трикэ запоем, оправляя парик: «Oh! belle Tatiana!»

Кого бы ни рисовал Г. Иванов: Петра Великого, Неву, осенние сумерки или романтический кабачок, — это непременно «nature morte», «Антуанетин медальон» в овальной рамке, гравюра, панно, литография, но только не живая жизнь.

Даже самого себя поэт никогда не видит в халате и туфлях, с лицом, носящим следы бессонной ночи, внутренней борьбы, желания.

Нет, обязательно нужны подмостки, грим — картонные стены и бубенцы на шляпе:

¹ В рукописи после этого слова зачеркнуто — иногда.

² В рукописи перед этим словом зачеркнуто — спасение.

¹ К 12-ти листам рукописи припилена часть листа с этими стихами и с четвертой строкой: «Ты встанешь наутро, и встанешь для славы». В 1-й строке «жаждешь» вместо «жаждал».

Я плясун, плясун канатный
Бибабо, бибабо,
Я кричу: мой песик ватный,
Пес Тубо, пес Тубо!

Есть, правда, область, где Г. Иванов говорит живым и вдохновенным языком. И это — о любви.

Я не запомнил точных линий,
Но ясный взор и нежный рот,
Но шею, над рубашкой синей,
Неизъяснимый поворот...

К сожалению, и эта искренность, приправленная дозой показной, нескромной первезности, снова возвращает воображение в область утонченных, но — увя — бесплодных настроений.

Свободнее и как-то внутренне моложе Г. Адамович, поэт маленький, но не погруженный, по крайней мере, в прелесть и пыль антикварной лавки.

Бесмысленный, маленький мирок, откры-

тый его взору, с пошлым граммофоном, глупой кукушкой и лохмотьями мокрой парусины, — изредка расширяется до трагического.

Скребнут отравленные мыши,
Слабея, с ядом на зубах
Грызут зеленые обои.
Я только слушаю, но страх
Мне тоже не дает покоя.

В этой тревоге и бессоннице, в смятении и предчувствии большой «нагло-хохочущей» беды — единственная надежда Адамовича, если он пожелает и сможет стать настоящим художником. Но, повторяю, пока это только возможности¹.

1916

Публикация В. Кондрианенко

¹ Статья не напечатана Автограф и машинопись на 12 линованных листах находятся в рукописном отделе ГБЛ, ф. 245, к. 3, ед. хр. 1. Автограф и машинопись аналогичны.



ГЕОРГИЙ ГЛЕКИН

ИЗ ЗАПИСОК О ВСТРЕЧАХ С АННОЙ АХМАТОВОЙ¹

(А. А. Ахматова о литературе, живописи...)

В конце ноября 1959 года я пришел к Анне Андреевне. Она тогда жила на улице Красной Конницы, в той части Ленинграда, которая примыкает к Смольному, Кирочной, Суворовскому. Вдали туманная громада собора Смольного монастыря. Относительно тихо. Входная дверь снабжена какой-то жуткой петлей для засова... Комната Анны Андреевны маленькая, оклеена простыми светло-зелеными обоями с золотыми веточками. В комнате не тесно — у хозяйки не было никакой тяги к вещам, к собственности, к «буржуйскому бараклу»².

«Я не люблю вещей»,— говорила Анна Андреевна, когда мы после скромного обеда сидели в ее комнате и я по привычке пробежался взглядом по книжным полкам, где в полном беспорядке были расставлены или просто сложены самые неожиданные книги. «Это все почти случайные, бог весть откуда попавшие сюда... Ни библиофильства, ни другого собирательства я не понимаю совершенно. Вы знаете, я легко могла бы украсть — так мне не свойственно ощущение собственности. Я просто знаю, что красть нехорошо, что мне будет трудно с людьми, если я стану воровать, а почему нельзя воровать, я не знаю. И наоборот, я очень легко раздаю свои вещи. Когда мне делают подарки, я совершенно не знаю, что с ними делать, и скорее дарю их дальше».

В комнате, слева от двери, — старый комод красного дерева, на котором масса деревянных резных игрушек и фигурок, и среди них — большой Петрушка, раскрашенный Сапуновым. Тут же маленькие сундучки, настоящие питерские «укладки», где хранились самые дорогие для Ахматовой книги с надписями. Видел надписи рукой Блока, Сологуба, Лозинского, Фадеева, Твардовского. Запомнилась надпись крупным наклонным почерком на

гржебинской «Сестре моей — жизни»: «Долгому звуку моей жизни — с любовью, после примирения. Борис Пастернак». На стене — голубоглазый портрет Ольги Афанасьевны Глебовой-Судейкиной, лубочный Алконост — птица скорби и подлинный рисунок Модильяни — память о далеких уже молодых годах, о Париже, о скамейке в Люксембургском саду, — «светлый, легкий предзакатный час»...

«...Понимаете ли вы, что Данте — самый главный? Все, ну все от него. Шекспир, сонеты — это уже совсем в другом роде...»

«...Как же это получилось, что мы всех современников Шекспира знаем, о характере Бен-Джонсона, и о дикой смерти Марло, и обо всех других, а о самом Шекспире, — он же и тогда был знаменитостью, — никто не написал?... И сами его Ричарды, и Генрихи, и Макбет написаны вовсе не по Голлештедтским хроникам, а по той, хранившейся в Тоуэре или во дворце хронике, которую опубликовали лишь в XX веке, а в те времена могли знать лишь Елизавета и ее самые доверенные люди. Например, Бэкон. Елизавета была очень талантливая и своеобразная женщина... И ее соперница — ученица Ронсара — тоже... Все это так странно...»

Ахматова недолюбливала красавчика лорда, как она называла Байрона, и была всецело на стороне озерной школы, особо выделяя Кольриджа, главную поэму которого так блестяще перевел на русский Н. С. Гумилев. Однако Шелли она очень ценила и любила читать его по-английски. Английские и французские стихи она читала вслух так же свободно и красиво, как и русские. Все же чаще мы говорили о русских поэтах и их судьбах.

«...В Пушкине все так неясно, так запутано, так много тайны... Судьбы героев за пределами рассказа Пушкина не интересуют. Никто не знает, что было дальше с Дубровским, Гриневым, графом В., обеими Машами, Бурмиными, Минскими. Исключение — Германн, но там концовка больше похожа на гротеск... Мой Пушкин — это не тот Пушкин, который

¹ Большая часть «Записок» опубликована в «Дне поэзии» 1988 года

² Выражение А. А. Ахматовой.

смирненно потупился на своей площади перед «Известиями» и всех устраивает, даже Марину устраивал. Мой — тот, который писал «Когда для смертного...» или «Брожу ли я...» Страшный Пушкин... А сегодня радио — ведь у меня нет, конечно, часов, и я живу бог знает как — сколько сейчас времени? А, спасибо... Так вот, я включила радио прямо в постели, оно там стоит рядом, чтобы узнать, который час, а оно мне сказала очень нужное мне — о библиотеке Пушкина. Книги Пушкина были сложены в ящики и вручены Наталии Николаевне. Но в генеральской квартире, видите ли, не нашлось места для книг, и они были свалены в подвале, где-то в полку, которым командовал его превосходительство... Затем их расхищали, губили. И ведь при этом присутствовала Александрина!..»

«...Представьте себе, как это страшно, этот допрос у Николая. Такой молоденький, такой хрупкий поручик, совсем ведь еще мальчик. И эти два толстые, сытые генерала — Николай и Бенкендорф... Как им было не стыдно?.. А впрочем, чтобы стыдиться, тоже нужно быть умными... Свечи горят, глухой кабинет, ковры такие мягкие. Я их потом видела в Зимнем. И нельзя ни позвать на помощь, ни проснуться. Я думаю, поручик не раз вспомнил бабушку... Только страшно ранняя смерть Лермонтова сделала так, что мы воспринимаем его как поэта. Он создатель, родоначальник русской прозы. Не от Пушкина или Гоголя, а именно от него Толстой и Достоевский...»

«...Достоевский — величайшее явление в русской или даже мировой литературе, но и он, как Толстой, пытался выйти из нее сапоги тачать. Я имею в виду его дневники и другое, например, «Подросток». Я определенно не люблю эту вещь. А «Бесы» — апокалипсическая вещь. Вершина. И неверно, что она какая-то реакционная! Она — самая человеческая, а значит, революционная. Блок от Достоевского и от Некрасова. И, по секрету вам скажу, мы тоже — и Осип, и я. А Пастернак — от Гаршина... Достоевский не вмещается в обычные рамочки. Завязка его романов там где-то, за их пределами. Он гипнотизирует читателя и заставляет его поверить, что все это было там где-то, до его романа. И вот тот же Достоевский стремится проникнуть

в светские салоны, — его дружба с Анной Павловной Философовой, с которой уж очень нежно дружил мой рара». (Отец Ахматовой А. П. Горенко преподавал математику в Военно-инженерном училище, где учился сын А. П. Философовой — «тот самый Философов — очень красивый господин, который был с Мережковскими».)

«...Толстой написал злую физиологическую клевету на женщину, как будто это писал не великий писатель, а его старая тетка. Анна выдумана! Все в ней фальшиво, и, заметьте, это наряду с просто невероятной красотой отдельных страниц. Ну разве мать может любить своего законного сына и так не любить маленькое, беспомощное, не имеющее даже будущности трогательное существо? Это должно быть просто чудовище, а если Толстой писал чудовище, роман терзет смысл. А как Каренина, эта бело-розовая красавица, вместе с нелюбимым мужем шантажирует, подло шантажирует любимого человека!»

Вот запись разговора о Чехове:

«Как вышло, что только двое — Тютчев, к которому я отношусь, как говорится, колена-преклоненно, и Достоевский — поняли самое духовное в русском народе? Мы, люди шестидесятых годов XX века... мы твердо знаем, что самым великим событием нашего века была Октябрьская революция... Все мы ничто перед этим событием. И вот этот самый взрыв, потенциально заложенный в самом духе народа, его одухотворяющий и ставший духом XX столетия, этот дух задолго видели Тютчев и Достоевский, а Чехов не увидел. Он видел в России только чиновников и дам с собачками. Только плоские, только двумерные люди ходят по его рассказам. Почти вплотную к революции он ее не почувствовал. Ему казалось, что так будет вечно. А как он понимал художников? У него, современника Левитана и Сурикова, художник — всегда бездельник, актриса — праздная развратная бабенка, у него, современника Менделеева, ученые — всегда старые дураки. Это все расчет на среднего, то есть посредственного, читателя. Угодничество ему, как это бывало у Диккенса, приношение к мещанину, которому приятно узнать, что художники и ученые, непонятные и чужие ему люди, — попросту дураки и подлецы.

Врач, сиделка — тут бьешь без промаха. А вот художник... Сомнительно, понравится ли?»

«Степь» — прелестное, поразительное произведение, но ведь это — очерк. А вот очерки Короленко — это уже не очерки! И сам Владимир Галактионович, этот скромный, милый и смелый человек, совсем другого склада. Он-то уж никогда не подделывался и в очерках был подлинным художником. А Бунин, Телешов — вся эта странная компания, метавшаяся от Чехова к Горькому и суетливо бежавшая назад... Ничего нет странного, что они все убежали. Они всегда носились то туда, то сюда...»

Благодаря уменью очень зорко видеть людей, Ахматова смотрела беспристрастно на кумиров времени ее молодости, что, впрочем, не мешало ей порой быть весьма пристрастной в некоторых своих суждениях. Именно к Блоку она бывала не вполне справедлива, и я, почитая память Блока, почти не записывал ее высказываний о нем. Блок упоминался лишь изредка — Анна Андреевна избегала говорить о нем, ссылаясь на то, что они были мало знакомы, встречались не более трех-четырех раз, и что у нее и ее ближайших друзей отношения с Блоком и его окружением были очень сложные...

Я хотел бы рассказать об одном эпизоде, остро врезавшемся мне в память и чуть не ставшем причиной нашей ссоры. Зашел разговор о пристрастие некоторых поэтов придумывать к своим уже написанным стихам эффектные концовки или вступления. И я осмелился заметить, что и у самой Анны Андреевны можно найти тому примеры. Быстрый и иронический взгляд в мою сторону: «Что вы имеете в виду?» Я смиренно покаялся, что, как мне кажется, в стихотворении, начинающемся всем известной строкой «Сжала руки под темной вуалью...», первые четыре строки и служат примером такого квазипоэтического вступления, а самое стихотворение — господи, да еще какое стихотворение-то! — это восемь строк:

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...

Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Такие знакомые, такие добрые обычно глаза смотрели на меня в упор с неприязнью и чуть ли не с отвращением. «Пойдите и прогуляйтесь по Большой Ордынке, подумайте и возвращайтесь не раньше чем через сорок минут». А когда я вернулся, глаза были вновь веселые и добрые, а их хозяйка призналась, что написала их, эти первые четыре строки, чуть ли не через полгода после того, как было написано стихотворение, начинающееся с вопроса: «Как забуду?..»

Круг интересов Ахматовой был очень широк. Я приведу несколько ее афористически кратких суждений.

Вернувшись из поездки в Загорск, полная впечатлений от Лавры, Анна Андреевна рассказывала:

«Это так неправдоподобно прекрасно, это так мудро и так добро, все эти древние иконы, эти стены, церкви... Не растреллиевская колоколенка, конечно, а вот именно эта самая святая старина, мох на кровлях собора, деревянные иконостасы, не литые из серебра, а настоящие темные. Мне стало понятно, откуда у нас Пушкин и откуда Достоевский. И мне все казалось, что я недостойна смотреть на эту красоту... А из подмосковных я больше всего люблю не Загорск-все-таки, а Коломенское, но именно ту его часть, которая осталась от Алексея Михайловича...»

Суждения Ахматовой о живописи часто бывали пристрастны и не всегда справедливы. Так, например, она активно не любила «Мир искусства»:

«Был, правда, гениальный Врубель... А стилизованная Русь Билибина, Васнецовых, куда-то все уезжающие кареты Бенуа, парики Сомова — нет, нет, это определено плохо. Ну, вот еще некоторые вещи Сурикова — Морозова, стрельцы, старик в рубахе...»

Свой портрет работы Ю. П. Анненкова Анна Андреевна любила, но жаловалась, что

он надоел ей на обложках ее книг. Лучшим своим портретом считала портрет работы Тырсы, предпосланный ее сборнику «Из шести книг».

Ахматова всегда жалела, что, общаясь почти ежедневно с Амедео Модильяни — «давно, давно, когда мы совсем не думали, даже не умели думать о славе, в Париже», — она не понимала, что ее спутник и приятель из Люксембургского сада — гениальный художник.

Вот еще запись:

«В Гогене можно любить его жизнь, а не живопись. От живописи его пошли все дамские вышивки. Я вам это покажу, это действи-

тельно так. Зато кто может любить жизнь Сезанна? Это мрачная жизнь провинциального одержимого. Зато какое яркое, небывалое искусство!»

Анна Ахматова не была музыкальным человеком в обычном смысле этого слова, однако она любила и хорошо знала классическую русскую и зарубежную музыку, но и тут у нее были свои пристрастия. Она любила Моцарта, Бетховена, Шопена, домоцартовскую музыку. Совершенно не понимала и не любила Вагнера. Из русских композиторов ближе других ей были Мусоргский, Стравинский. Вершиной же современной музыки она всегда считала Д. Д. Шостаковича...



ЯКОВ ГОРДИН

ТРИ ПИСЬМА АННЫ АХМАТОВОЙ

«Издревле сладостный союз Поэтов меж собой связует», — писал Пушкин. Взаимоотношения больших поэтов — особый слой культуры. Даже в бытовом аспекте эти взаимоотношения имеют часто отнюдь не только бытовой смысл.

На рубеже 50—60-х годов жизнь Анны Андреевны Ахматовой оказалась связана с жизнью четырех ленинградских молодых поэтов — Дмитрия Бобышева, Анатолия Наймана, Евгения Рейна и — несколько позже — Иосифа Бродского. Это пересечение традиций образовало удивительный литературный оазис, подлежащий внимательному изучению. Отчасти это уже сделано Анатолием Найманом в книге «Конец первой половины двадцатого века», которая выходит в 1989 году.

Данная публикация должна рассматриваться не более как материал к истории отношений Анны Ахматовой и Иосифа Бродского. Именно как материал, ибо диалог поэтов всеобъемлющ, а стихи и письма составляют только видимую его часть.

Летом 1962 года Бродский посвятил Ахматовой два стихотворения, горькая и спокойная трагедийность которых смягчена юношеским восхищением.

Закричат и захлопочут петухи
По проспекту загрохочут сапоги.
Засверкает лошадиный изумруд.
В одночасье современники умрут.
Запоет над переулком флажолет.
Загрохочет над каналом пистолет.
Загремит на подоконнике стекло.
Станет в комнате особенно светло.

В начале шестидесятых атомное зарево еще поддавалось художественному обыгрыванию. Но стихотворение гораздо фантастичнее и глубже описания гипотетической войны. Это страшное в своей неопределенности — «без облика и склада» — обезлюдение мира, за которым следует величественное явление вечной поэзии в прекрасной ленинградской пустыне:

Так начнется двадцать первый, золотой,
на тропинке, красным светом залитой,
на вопросы и проклятия в ответ
обволакивая паром этот свет!

Но на Марсовое поле дотемна
в синем платье одинешенька-одна
Вы появитесь, как было уж не раз,
лишь навечно без поклонников, без нас.

Только трубочка бумажная в руке.
Лишь такси за Вами едет вдалеке.
Рядом плещется блестящая вода.
До асфальта провисают провода.

(Собственно, это стихотворение было развернутым вариантом — разумеется, резко индивидуальным поэтически, — старого четверостишия Ахматовой:

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор, к смерти все готово...
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней царственное слово.)

Бродский писал:

Умирания, смертей и бытия
соучастник, никогда не судия,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишете о нас наискосок.

Тогда же Ахматова ответила на эти стихи, взяв последнюю строку эпиграфом к одному из самых известных своих стихотворений позднего периода:

Вы напишете о нас наискосок.

И. Б.

Мне с Морозовой класть поклоны,
С падчерницей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.
Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.

Как видим, связь здесь не ограничивается эпиграфом, она гораздо серьезнее — это мысль о мучительной неистребимости поэзии.

Второе стихотворение Бродского Ахматовой заканчивалось так:

Не прошу ни любви, ни признания,
ни волнения, рукав теребя.
Долгой жизни тебе, расстояние.
Но я снова прошу для себя
безразличную ласковость добрую
и — при встрече — все то же житье.
Приношу Вам любовь свою долгую,
сознавая ненужность ее.

Между тем были и любовь, и признания и со стороны Ахматовой.

Когда осенью 1963 года началась в Ленинграде травля Бродского, а в марте 1964 он был приговорен к пяти годам ссылки, Ахматова делала все, что могла, чтобы помочь ему...

В бумагах Бродского, которые, по завещанию его покойного отца, Александра Ивановича Бродского, хранятся у меня, есть три письма Ахматовой к нему. Эти короткие письма много говорят не только о глубине и особенности отношений двух поэтов, но и о самой Ахматовой.

Первые два были отвезены в деревню Норинское Архангельской области, где Бродский отбывал ссылку, Анатолием Найманом.

«20 окт. 1964

Иосиф,

из бесконечных бесед, которые я веду с Вами днем и ночью, Вы должны знать о всем, что случилось и что не случилось.

Случилось:

и вот уже славы
высокий порог,
но голос лукавый

Предостерег и т. д.

Не случилось:

Светает — это Страшный Суд и т. д.

Обещайте мне одно — быть совершенно здоровым, хуже грелок, уколов и высоких давлений нет ничего на свете, и еще хуже всего

то — что это необратимо. А перед Вами здоровым могут быть золотые пути, радость и то божественное слияние с природой, которое так пленяет всех, кто читает Ваши стихи.

Анна».

«Иосиф,

свечи из Сиракуз. Посылаю Вам древнейшее пламя, в свою очередь, почти украденное у Прометея.

Я в Комарове, в Доме творчества. В Будке¹ Аня² и сопровождающие ее лица. Сегодня ездила туда, вспоминала нашу последнюю осень с музыкой, колодцем и Вашим циклом стихов.

И снова всплыли спасительные слова: «Главное — это величие замысла».

Небо уже розовеет по вечерам, хотя впереди еще главный кусок зимы.

Хочу поделиться с Вами моей новой бедой. Я умираю от черной зависти. Прочтите «Ин. лит.» № 12 — «Дознание» Леона Филиппе... Там я завидую каждому слову, каждой интонации. Каков старик! И каков переводчик! Я еще таких не видывала. Посочувствуйте мне.

Стихи на смерть Элиота³ м. б. не хуже, но я почему-то не завидую. Наоборот — мне даже светло от мысли, что они существуют.

Сейчас получила Вашу телеграмму. Благодарю Вас. Мне кажется, что я пишу это письмо очень давно.

Анна».

15 февраля

1965

Комарово

«Иосиф, милый!

Так как число неотправленных Вам моих писем незаметно стало трехзначным, я решила написать Вам настоящее, т. е. реально суще-

¹ Будкой Ахматова называла свой литфондовый домик в Комарове.

² Аня — А. Г. Каминская, внучка Н. Н. Пунни, мужа Ахматовой.

³ Стихотворение И. Бродского

ствующее письмо (в конверте, с маркой, с адресом), и сама немного смутилась.

Сегодня Петров день — самое сердце лета. Все сияет и светится изнутри. Вспоминаю столько разных Петровых дней.

Я — в Будке. Скрипит колодезь, кричат вороны. Слушаю привезенного по Вашему совету Перселла («Дидона и Эней»). Это нечто столь могущественное, что говорить о нем нельзя.

Оказывается, мы выехали из Англии¹ на другой день после ставшей настоящим бедствием бури, о которой писали в газетах. Узнав об этом, я поняла, почему я увидела такой страшной северную Францию из окна вагона. И я подумала: «Такое небо должно быть над генеральным сражением» (день, конечно, оказался годовщиной Ватерлоо, о чем мне сказали в Париже). Черные дикие тучи кидались друг на друга, вся земля была залита бурной мутной водой: речки, ручьи, озера вышли из берегов. Из воды торчали каменные кресты — там множество кладбищ и могил от последней войны. Потом был Париж, раскаленный и неузнаваемый. Потом обратный путь, когда хотелось только одного — скорей в Комарово; потом — Москва и на платформе все с цветами, все как в самом лучшем сне.

Унялись ли у Вас комары? У нас их уже нет. Мы с Толей² заканчиваем перевод Лео-

парди, а в это время стихи бродят где-то далеко, переключаясь между собою, и никто не едет со мной туда, где сияет растреллиевское чудо — Смольный Собор.

И в силе остаются Ваши прошлогодние слова: «Главное — это величие замысла».

Благодарю за телеграмму — античный стиль Вам очень удастся, как в эпистолярном жанре, так и в рисунках; когда я их вижу, всегда вспоминаю иллюстрации Пикассо к «Метаморфозам».

Читаю дневники Кафки.

Напишите мне.

Ахматова.

Р. С. Я думаю, что Вам бы понравилась моя встреча с Гарри¹. Жена его — прелесть.

А вот совершенно забытое и потерянное мною четверостишие, которое вынырнуло в моих бумагах:

Глаза безумные твои
И ледяные речи,
И объяснение в любви
Еще до первой встречи.

Может быть, это из «Пролога»?²

В том же 1965 году Ахматова подарила Бродскому свою книгу с надписью: «Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне волшебными».

¹ В 1965 году Ахматова ездила в Англию.

² Толя — А. Г. Найман

¹ Гарри — друг Бродского Г. Гинзбург-Восков

² По содержанию письмо датируется 12 июля 1965 года.



ДМИТРИЙ ХРЕНКОВ

НЕЗАЕМНОЕ МУЖЕСТВО

Если молодой читатель вдруг заблудится в необозримом море современной поэзии или, того хуже, надоест ему перебирать плоские, зализанные волной камушки слов из иных наших книг, советую — откройте томик Александра Гитовича.

Гитович прожил нелегкую жизнь. В этом году ему исполнилось бы восемьдесят лет. Но стихи его не поутратили ни силы, ни той жажды борьбы, отстаивания собственной позиции, которые, в общем-то, и отличают настоящего поэта.

Работал он в пору культа личности, когда считалось важным не столько говорить свое, сколько повторять клятвы и гимны. Александр Гитович решительно пренебрегал этим.

Он писал:

В тридцать втором году, в начале мая,
Под знаменем военного труда,
Мы приняли Присягу, понимая,
Что присягаем — раз и навсегда.

И жили мы вне лжи и подозренья,
И друг на друга не бросали тень —
И с той поры глядим с неодобреньем
На тех, кто присягает каждый день.

Конечно, подобные стихи не могли не раздражать иных, пугать других. Но А. Гитович не считался ни с теми, ни с другими. Он был раздражающе смел — и в мирной жизни, и на войне.

Где ж Совнаркома грозная печать
И ленинская подпись под декретом,
Где навсегда запрещено поэтам:
Во-первых — лгать, а во-вторых —
молчать?!

На войне он оставался таким же непреклонным бойцом, хорошо знающим и свое дело, и цену слова.

Вспоминая Волховский фронт. Безбрежье болот, путаницу проволочных заграждений. Тут, бывало, шагу нельзя ступить без риска взлететь на воздух, оказаться на прицеле

у фашистского снайпера. А на западной границе одного из болот, туда, куда попасть можно было только глубокой ночью, наши солдаты превратили кочку в дзот и назвали его «Татьяной» — по подпольному имени только что совершившей свой подвиг Зои Космодемьянской. Гарнизон дзота состоял из семи человек. Но была такая трудная пора на этом участке фронта, когда к храбрецам прибавился еще один активный штык. Им был Александр Гитович, корреспондент армейской газеты. Неделю провел он в дзоте, на равных долях с солдатами все опасности, отражая редкие контратаки противника, постоянно подвергаясь опасности.

А потом он ходил в снайперские засады, летал на У-2 бомбить фашистский передний край, выскивал другие дела поопаснее, но зато и позволявшие полным словом сказать о своем уважении к простому солдату, который не боялся ни пуль, ни мин, а мог, как строитель дороги, «месяц работать по поясу в воде, не жалуясь даже соседу».

Но таков уж был характер у А. Гитовича: он должен был не только воздать должное истинному герою, но и сказать, о чем думал в те тревожные и трудные годы. И мы читаем:

..Нам едва ли
Друзьями станут те редактора,
Кто даже свиста пули не слышали,
А за два года б услышать пора.

И это написано не в пору гласности, а тогда, когда само слово такое было за семью печатями...

До войны Александр Гитович руководил в Ленинграде знаменитым объединением молодых поэтов. Вокруг него сошлись такие же, как он сам, люди, талантливые, верящие в то, что строка действительно может быть приравнена к прицельному выстрелу из винтовки. А еще молодые стремились быть верными славным традициям ленинградской школы поэзии, лишенной позы, крикливости, зато исполненной мысли и простоты донесения ее до читателя. Из этого объединения вышли

Е. Рывина, В. Шефнер, А. Чивилихин и другие поэты. Произошло то редкое, но всегда счастливое совпадение взглядов учителя и учеников, когда учитель не считал для себя зазорным с благодарностью внимать тому, что говорили ученики. Отсюда — необычная атмосфера занятий, так напоминавшая диспуты.

На эту особенность занятий «молодого объединения» обратила внимание Анна Ахматова. Она не раз приглашала Гитовича с друзьями к себе, а случалось, и сама выбиралась к ним в Дом писателя, на улицу Воинова.

Ахматова не любила расточать похвалы. Но Гитовича она любила всей душой. Он был первослушателем многих ее только что написанных стихов. Долгое время они жили по соседству в Комарове, но сблизило их не соседство, а преданность поэзии. Как-то Анна Андреевна сказала мне, что если бы Гитович не написал многих своих прекрасных стихов, не сделал бы волшебные переводы древних китайских поэтов, имя его осталось бы в антологии только потому, что ему принадлежат вот эти две строчки, будто отлитые из бронзы:

Лебединая песня поэта
Начинается с первых стихов.

Однажды в Комарове я повез Анну Андреевну и Александра Ильича на машине вниз, к заливу. Был погожий вечер. Мы сидели на валунах и молча смотрели на то, как вода ластится к берегу. Где-то далеко, нечетко выступая из предвечерней дымки, — будто резцом вырезанный на морском просторе Кронштадт. По его узким улочкам, изрезанным каналами, Анна Андреевна когда-то гуляла с Николаем Гумилевым, родившимся в этой крепости.

После долгого молчания Ахматова заметила: не кажется ли нам, что в литературе замысел возникает вот так, как возник перед

нами Кронштадт? Вопрос был чисто риторический. Он не требовал ответа. Но Гитович заговорил о том, что ему не удалось и что очень хочется написать. Речь шла о цикле «Кремень и огонь», который он давно вынашивал и думал посвятить Ахматовой.

Позже он дал мне прочесть листок с одним из стихотворений этого цикла. Оно так и осталось ненапечатанным, но мне показалось, что не случайно поэт соединил в стихотворении две судьбы — Ахматовой и С. М. Кирова.

...А было то в пятницу или в четверг,
Но свет коммунизма над Смольным померк.

В глаза не посмели ему посмотреть —
В затылок ему предназначили смерть,

В затылок народа, в затылок борца,
По каторжной воле Вождя и Отца..

Ведь тот же прием, с помощью которого был убит Киров, был использован и для расправы над Ахматовой. Ахматова, к счастью, выжила. Она осталась тем, кем была, — великим поэтом, и Гитович гордился дружбой с ней.

Приглашая пригелей в гости, в Комарово, он обещал главный подарок — увидеть «на сквозной занавеске знаменитого профиля тень», а то и возможность зайти в дом к самой Анне Андреевне, чтобы увидеть,

Как спокойная гордость поэта
Стала гордостью русской земли.

Эта гордость своей принадлежностью к России чувствуется и во всем, что написал Александр Гитович, поэт, которого нам предстоит изучать и изучать, чтобы увидеть, почему и сегодня голос его звучит так притягательно...



ОЛЬГА ВАКСЕЛЬ

(1903—1932)

* * *

Не подчиняясь вдохновенью,
Его не жду, но снова вдруг
Его мучительные звенья
Меня замкнули в узкий круг.
И все чернее ночи холод.
Я так живу, о счастье помня,
И если вдохновенье — молот,
Моя душа — каменоломня.

1920

* * *

Под солнечным дождем тропой весенней
Не стаял снег.
А на спящий дол упали тени,
Клубясь на дне
Оврага, в этот час открывшего все складки
Крутой горы.
И доносило ветром запах сладкий
Сухой коры,
И солнечная пыль так больно обжигала
И так цвела,
Что боль перерекла бесчисленные жала
В колокола,
В безумный, напоенный ядом воздух,
И в прутья верб,
В которых до сих пор запутались и звезды,
И серый серп.
И белый дождь проник под перья пепла
И в очи мне,
Пока истаяла зима и жизнь окрепла
В прозрачном сне.

1923

* * *

Я разучилась радоваться вам,
Поля огромные, синеющие дали.
Прислушиваясь к чуждым мне словам,
Переполняюсь горестной печали.

Уже слепая к вечной красоте,
Я проклиная выжженное небо,
Терзающее маленьких детей,
Просящих жалобно на корку хлеба.
И этот мир — мне страшная тюрьма
За то, что я испепеленным сердцем,
Когда и как не ведаю сама,
Пошла за ненавистным иноверцем.

1932

* * *

Вот скоро год, как я ревниво помню —
Не только строчками исписанных страниц,
Не только в близорукой дымке комнат —
При свете свеч — тяжелый взмах ресниц
И долгий взгляд, когда почти с испугом,
Не отрываясь, медленно, в упор,
Ко мне лился тот непостижный взор
Того, кого я называла другом.

1932

Анна Ахматова, знавшая Ольгу Ваксель в ее юные годы, ознакомившись незадолго до своей смерти с ее стихами, написанными в разное время, выразила уверенность, что эти стихи когда-нибудь обязательно увидят свет, и заботливо выбирала фотографию — самую выразительную — для будущей публикации.

У Ольги Ваксель не было напечатано ни одной строчки, хотя стихи она писала всю жизнь — начиная с десятилетнего возраста. Выросшая в интеллигентной петербургской семье (ее предком был мореход Свен Ваксель — сподвижник Витуса Беринга), она принадлежала к кругу Максимилиана Волошина, встречалась с О. Мандельштамом, посвятившим ей впоследствии четыре прекрасных стихотворения.

В двадцатые годы Ольга Ваксель пробовала свои силы в разных областях — училась в Институте живого слова, занималась в студии ФЭКС (Фабрика эксцентрического киноактера), снималась в кино, работала корректором в издательстве.

Осенью 1932 года второй муж Ольги Александровны Ваксель увез ее к себе на родину, в г. Осло (Норвегия), где она, прожив всего три недели, в приступе острой ностальгии ушла из жизни.

Остались ее стихи — непрофессиональные, но, безусловно, искренние, подтверждающие известную истину: поэт — не профессия, а судьба.

Арсений Смольевский

КОНСТАНТИН ВАГИНОВ

(1899—1934)

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗВЕЗДОЧЕТ

1

Дыханьем Ливии наполнен Финский берег.
Бреду один среди стогов золотых.
Со мною шла, чернее ночи, Мэри
С волною губ во впадинах пустых.
В моем плече тяжелый ветер дышит,
В моих глазах готовит ложе ночь.
На небе пятый день Румяный Нищий ищет,
Куда ушла его земная дочь.
Но вот двурогий глаз повис на небе чистом,
И в каждой комнате проснулся звездочет.
Мой сумасшедший друг луну из монтекристо,
Как скрипку отзвеневшую, убьет.

2

В последний раз дотронуться до облаков поющих,
Пусть с потолка тяжелый снег идет.
Под хриплой кушей бархатистых кружев
Рыбак седой седую песнь прядет.
Прядет ли он долины Иудей
Иль дым крылатый на берегах Невы,
В груди моей старинный ветер рдеет,
Качается и ходит в ней ковыль.
Но он сегодня вышел на дорогу
И с девушкой пошел в мохнатый кабачок.
Он как живой, но ты его не трогай,
Он ходит с ней по крышам широко.
Шумит и воет в ветре Гала Петер,
И девушка в фруктовой слышит струны арф,
А Звездочет опять прядет в своей карете,
А над Невой клубится синий звездный пар.
Затем над ним, подъявля крест червонный,
Качая ризой над цветным ковром,
Священник скажет: «Умер раб Господний,—
Иван Петров лежит в гробу простом».

3

Мой дом двурогий дремлет на Эвроне.
Псалмы Давида, мята и покой.
Но Аполлон в столовой ждет и ходит,
Такой безглазый, бледный и родной.

4

Рябит рябины хруст под тонкой коркой неба,
А под глазами хруст покрытых пледом плеч,
А на руке браслет, а на коленях тревник,
На голове чалма. О, если бы уснуть!
А Звездочет стоит, безглазый и холодный,
Он выпил кровь мою, но не порозовел,
А для меня лишь бром, затем приют Господень —
Четыре стороны в газете на столе.

«Островитяне», Пг., 1921

* * *

Упала ночь в твои ресницы,
Который день мы стережем любовь;
Антиохия спит, и синий дым клубится
Среди цветных умерших берегов.
Орфей был человеком, я же сизым дымом.
Курчавой ночью тяжела любовь —
Не устеречь ее. Огонь неугасимый
Горит от этих мертвых берегов.

«Звучащая раковина», Пг., 1922

* * *

Я снял сапог и променял на звезды,
А звезды променял на ситцевый халат.
Как глуп и прост и беден путь Господний.
Я променял на пéрец шоколад.

Мой друг ушел и спит с осколком лиры,
Он все еще Эллады ловит вздох.
И чудится ему, что у истоков милых,
Склоняя лавр, возлюбленная ждет.

1922

*Альманах «Цех поэтов», № 3,
Пг., 1922*



* * *

Все ж я люблю холодные жалкие звезды
И свою опухшую белую мать,
Неуют и под окнами кучи навоза,
И траву, и крапиву, и чахлорастущий салат.

Часто сижу во дворе и смотрю на кроличьи игры.
Белая выйдет луна воздух вечерний впивать,
Из дому вытащу я шкуру облезлую тигра,
Лягу и стану траву, плечи подьемля, сосать.

Да, в обреченной стране самый я нежный и хилый,
Братья мои кирпичи, остров зеленый земля,
Мне все равно, что сегодня две унции хлеба.
Город свой больше себя, больше спасенья люблю.

*«Изборник, составленный для
Марии Неслуховской», 1922*



О поэзии Константина Вагинова

В 1964 году от ныне покойного знатока петербургской поэзии Алексея Георгиевича Сорокина я впервые услышала стихи Константина Вагинова, полузабытого поэта 20-х годов. Стихи эти завораживали особой музыкальностью, идущей не столько от фонетической игры, сколько от причудливого сочетания образов, связанных между собой не обычной житейской, а поэтической ассоциативной логикой. Поэт вел за собой в фантастический мир, в котором, на первый взгляд, хаотично были перемешаны века и страны. «Поэт потерял чувство обычного пространства и времени,— писал в 1922 году Вс. Рождественский,— широко раскрытыми глазами смотрит он на райские леса, которыми зарастают городские площади, и в трамвайном лязганье

слышит колокольчики кочевого Багдада». Другой поэт, Г. Адамович, сопоставил сновидческие образы Вагинова с живописью литовского художника Чюрлёниса.

Фантастические картины, создаваемые поэтическим воображением Вагинова, питались не только литературными, но и реальными впечатлениями. Чтобы войти в мир вагиновской поэзии, нужно представить Петроград времен военного коммунизма. Невский тогда еще был покрыт торцовой мостовой. Между плиток торцов прорастала трава, в парках и во дворах зеленели огороды. На Ростральных колоннах росла полынь. По ночам на улицах разводились костры, у которых грелись беспризорники. Трамваи не ходили, автомобили проезжали очень редко. По ули-

* * *

Я променял весь дивный гул природы
На звук трехмерный, бережный, простой.
Но помнит он далекие народы,
И треск травы, и волн далекий бой.

Люблю слова — предчувствую паденье,
Забвенья смысла их среди торжищ городских.
Так звуки У и А приемлют шум трамвая
И завыванье проволок тугих.

И ты, потомок мой, под стук сухой вокзала,
Под веткой рельс, ты вспомнишь обо мне.
В последний раз звук А напомнит шум дубравы,
В последний раз звук Е напомнит треск травы.

Июль 1922

*Альманах Петербургского объединения
обновленного искусства, № 1, Пг.,
1922*



О поэзии Константина Вагинова

цам ходили голодные оборванные люди в самых фантастических нарядах. Этот необычный быт претворился в стихах юного поэта:

Живу отшельником —

Екатерининский канал, 105.

За окнами растет ромашка, клевер дикий,
Из-за разбитых каменных ворот
Я слышу Грузии, Азербайджана крики.

Разноплановый образ Петербурга, города вечности, лейтмотивом проходит в творчестве Вагинова. Один из готовившихся к печати сборников поэта назывался «Петербургские ночи». В этой книге Петербург был показан «в динамике, в неведомом плаваньи». Такое ощущение города сближало Ва-

гинова с Н. Тихоновым и С. Колбасевым, вместе с которыми он организовал в 1921 году группу «Островитяне», стремившуюся к свободе от цеховых рамок, нивелировки поэтических индивидуальностей. В первом машинописном альманахе «Островитяне», выпущенном в количестве двадцати экземпляров в сентябре 1921 года, состоялся литературный дебют Вагинова. Петербургская тема сближала Вагинова и с Мандельштамом, который неоднократно с восхищением отзывался о вагиновских стихах. Талант Вагинова признавал и чуждый ему по манере мэтр акмеизма Н. Гумилев, в поэтической студии которого при знаменитом петроградском Доме Искусств, ДИСКе, Вагинов делал первые литературные шаги.

* * *

Кентаврами восходят поколения,
И музыка гремит.
За лесом, там, полуденное пенье,
Неясный мир лежит.

Кентавр, кентавр, зачем ты оглянулся,
Копыто приподняв?
Зачем ты флейту взял и заиграл разлуку,
Волнуясь и кружась?

Веселья нету в жаркой бездне,
Кентавр, спеши.
Забудь, что был ты украшением,
Или не можешь ты?

Иль создан ты стоять на камне
И созерцать
Себя, и мир, и звезд движенье,
И размышлять?

«Звукоподобие», 1932

О поэзии Константина Вагинова

В поэтической манере Вагинова оригинально сочетались новизна и внимательное отношение к наследию прошлого. Такой синтез позволял критике видеть в его стихах «отзвуки таинственной, вечной музыки, тональности Лермонтова или Жуковского» и одновременно сопоставлять поэзию Вагинова с творчеством французских сюрреалистов.

Вагинов был членом почти всех петроградских литературных объединений, часто враждовавших между собой. Современники объясняли это интересом поэта к людям, «желанием прислушаться и понять другого, найти в каждом подлинное и талантливое». Все знавшие Вагинова отзывались о нем с нежностью и теплотой. «Люди сразу душевно располагались к его тихому голосу, к добро-

те, постоянно живущей в его глубоких, больших, коричневых, совершенно бархатных глазах». — вспоминает друг поэта Ида Моисеевна Наппельбаум, в квартире которой собирался кружок «Звучащая раковина», самым талантливым членом которого был Вагинов.

Поэт прожил всего тридцать четыре года. За это время он выпустил три сборника стихов: «Путешествие в хаос» (1921), Стихотворения (1926), «Опыты соединения слов посредством ритма» (1931). Две поэтические книги «Петербургские ночи» и «Звукоподобие» остались неизданными. В апреле 1934 года Вагинов скончался от тяжелой мучительной болезни — туберкулеза. Друзья похоронили его на Смоленском кладбище рядом с Блокской дорожкой. В некрологах, появившихся

Ю Ж Н А Я З И М А

Как ночь бессонную зима напоминает!
И лица желтые, несвежие глаза,
И солнца луч природу обольщает,
Как незаслуженный и лучезарный взгляд.

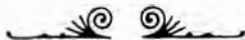
Среди пытающихся распуститься,
Средь почек обреченных он блуждал,
Сочувствие к обманутым растениям
Надулось в нем, как парус, возросло.

А дикая зима все продолжалась —
То падал снег, то дождь как из ведра,
То солнце принуждало распускаться,
А под окном шакалы до утра

Здесь пели женщиной, там плакали ребенком,
Вдруг выли почерневшею вдовой.
И псы бездомные со всех концов бежали
И возносили лай сторожевой.

Как ночь бессонную зима напоминает —
Камелии стоят, фонарь слезу роняет.

«Звукоподобие», 1933



О поэзии Константина Вагинова

ся в газете «Литературный Ленинград», говорилось, что смерть поэта, «оставившего долгую и прочную память в поэтическом содружестве последних лет», — тяжелая потеря не только для его друзей и близких, но и для всей советской литературы. Давно настала пора выпустить книгу стихов Вагинова, чтобы дать возможность любителям поэзии оценить его глубоко оригинальное поэтическое наследие.

В нашу подборку включены стихи разных периодов творчества Вагинова, не входившие в его изданные поэтические книги. Большинство публикуемых стихов начала 20-х годов, разбросанные по раритетным петроградским альманахам, должны были войти в сборник «Петербургские ночи», объявленный в 1922 го-

ду издательством «Островитяне». Рукописный экземпляр этой книги хранится в архиве ленинградского библиофила М. С. Лесмана. Стихи 30-х годов из книги «Звукоподобие» любезно предоставлены в наше распоряжение вдовой поэта Александрой Ивановной Вагиновой, которой мы выражаем глубокую благодарность.

Татьяна Никольская

ДМИТРИЙ КЛЕНОВСКИЙ

(1892—1976)

* * *

Есть свечи: не загораются,
И сразу их не зажечь.
Такое порой случается
С иными из наших встреч.

На спичке дрожит и крадется
Настойчивый огонек,

Но что-то никак не ладится,
И пальцы, глядишь, обжег.

Зато не вдвойне ль мы счастливы
(С последнею в коробке),
Когда огонек опасно
Проснется на фитильке!

1974

* * *

Когда они вконец восхищены,
У немцев есть неожиданное сравненье
(И все поэты знать о нем должны!):
«Скажи, ну разве не стихотворенье?»

Так величают шляпку и вино,
Жаркое и цветок. Сравненье это
Меня, поэта, радует давно
Своим признаньем ценности поэта.

Когда забудут о моих стихах
И на немецком кладбище, под ивой,
Лежать я буду — у меня в ногах
Цветок, быть может, расцветет красивый.

И девушка, с возлюбленным вдвоем
По кладбищу гуляя в воскресенье,
Почтит его на языке своем:
«Скажи, ну разве не стихотворенье?»

1972

С Е Б Е

Не пиши последних строк
Предпоследним вечером!
Ведь уже на все, что мог,
Здесь тобой отвечено!

Брось вопросы задавать —
Обо всем ведь спрошено!

Можно ль там цветок сорвать,
Где кругом все скошено?

Просто тропкою иди,
Чужеземной, узкою,
Что, быть может, впереди
Все ж сольется с русскою.

1971

* * *

В одну из тех ночей, когда,
Откинувшись, как для глотка,
Ты жаждешь неба, а звезда
Так безнадежно далека,—

Не радостно ли ощутить
Плечо любимой у плеча,

Ту близость, без которой жить
Не стоит, скажешь сгоряча.

А между тем никто нигде
Тех двух пространств не превозмог,
И путь к любимой и к звезде
Так одинаково далек!

1958

НЕ ЗАБЫТОЕ, НЕ ПРОЩЕННОЕ

1

Когда весной — чужой весной! —
Опять цветет сирень,
Тогда встает передо мной
Мой царскосельский день.

Он тронут ранней сединой,
Ему за пятьдесят,
Но молодой голубишной
Его глаза горят.

Он пахнет морем и руном
Гомеровской строки,
И гимназическим сукном,
И мелом у доски;

Филипповским (вкуснее нет!)
Горячим пирожком,
Девическим, в пятнадцать лет
Подаренным, платком...

Стучит капель, оторопев
На мартовском ветру,
Звонит серебряный напев
Кавалерийских труб,

И голуби, набив зобы,
Воркуют на снегу.
...Я всех забыл, я все забыл,
А это — не могу!

2

За годы зла, за годы бед,
Со мной друживших там,
Привык терять я даже след
К покинутым крестам.

Я схоронил отца и мать,
Я схоронил друзей,
Но их мне легче вспоминать,
Чем запах детских дней.

«Я служил тебе высоким словом...»

Э тот небольшой, утопающий в зелени парков город с пушкинских времен был «городом муз».

Богато и разнообразно цвел он в начале нашего века многими именами поэтов, писателей, художников, по скромности назвавших свое время «серебряным веком», уважительно преклонившихся перед «золотым» девятнадцатым пушкинским веком.

Жил там, в тогдашнем Царском Селе, и художник Иосиф Крачковский (чей — хотя бы — пейзаж «Весна в Крыму» до сих пор хорошо знаком многим по репродукциям).

Сын художника Дмитрий (род. в 1892 г.), поэт, выпустил книжку стихов «Палитра» (СПб., 1917 г.). Узнал о поэте-однофамильце и взял себе псевдоним Дм. Кленовский.

Попад в эмиграцию, издавался в Мюнхене

и Париже; не сразу, начиная лишь с 50-х гг.

Тема Родины жила в его стихах, искренних и талантливых. Тоска по России, мечта о встрече с нею, о возможности получить ее привет, служить ей своим словом поэта — пронизывает многие его строки.

Мысль о возвращении не покидала Дм. Кленовского многие годы, как свидетельствуют его русские друзья. Но ряд нелепых обстоятельств осложнял решение этой задачи: и война, и послевоенные трудности, и подступившая потом старость и болезни — его и жены...

В 1976 году он умер в Мюнхене, в Доме престарелых...

Нина Иванова-Романова

Все, чем согрела жизнь меня,
Я растерял — и пусть!
Вот даже Блока больше я
Не помню наизусть.

И стало тесно от могил
На дальнем берегу.
...Я всех, я все похоронил.
А это — не могу!

3

Когда я думаю, что вот
Там все теперь не так,
И тот, кто песни там поет,
Не близок мне никак;

Со мною августовским днем
Не вспомнит злую весть,
Не скажет: «Вот сейчас, вдвоем,
«Костер» бы перечечь!»

Когда я вспомню, что поэт,
Что всех дороже мне,
Убит, забыт — пропал и след! —
В своей родной стране;

Что тот, кто нам стихи сложил
О чувстве о шестом,
И холмика не заслужил
С некрашеным крестом;

Что даже в эти, в наши дни
На невском берегу
Его и мертвого они,
Как волка, стерегут,—

Тогда я из последних сил
Кричу его врагу:
Я всем простил, я все простил,
Но это — не могу!

1955



ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОФОРМЛЕНИЕ
НОВЫХ ПОЭТИЧЕСКИХ КНИГ
1989 ГОДА

*



Обложка В. Мартусевича



Обложка В. Шеваленко



Обложка Т. Ивановой



Обложка Т. Фонаревой



Обложка А. Крыжановской



Обложка В. Мишина



Обложка В. Мишина

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕОНИД АГЕЕВ 198	НАТАЛЬЯ ГАЛКИНА 78
ВЛАДИМИР АДМОНИ 55	ТАТЬЯНА ГАЛУШКО 210
ВСЕВОЛОД АЗАРОВ 56	ГАЛИНА ГАМПЕР 214
АНАТОЛИЙ АКВИЛЕВ 57	ГЕОРГИЙ ГЛЕКИН 248
ДАНИИЛ АНДРЕЕВ 48	МИХАИЛ ГОЛОВЕНЧИЦ 80
АЛЛА АНДРЕЕВА 50	ЮРИЙ ГОЛУБЕНСКИЙ 80
АННА АХМАТОВА 5	НИКОЛАЙ ГОЛЬ 19
ВЛАДИМИР БАХТИН 44, 45, 47	ГЕРМАН ГОППЕ 82
ЛЮДМИЛА БАРБАС 59	ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ 203
ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ 17	ЯКОВ ГОРДИН 216, 252
АЛЕКСЕЙ БЕКЛОВ 61	НАТАЛЬЯ ГРАНЦЕВА 20
НИНА БЕЛЬСКАЯ 18	ЛЕОН ГРОХОВСКИЙ 83
АНАТОЛИЙ БЕРГЕР 62	НАТАЛИЯ ГРУДИНИНА 84
МИХАИЛ БЕРНОВИЧ 45	СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ 86
ВЛАДИМИР БЕСПАЛЬКО 63	ИВАН ДЕМЬЯНОВ 89
ОЛЬГА БЕШЕНКОВСКАЯ 229	ИГОРЬ ДОЛИНЯК 21
ВИЛЕН БОРИСОВ 64	ВЛАДИМИР ДРОЗДОВ 89
МАЙЯ БОРИСОВА 65	СЕРГЕЙ ДРОЗДОВ 90
СЕМЕН БОТВИННИК 67	ВАЛЕНТИНА ДРОЗДОВСКАЯ 92
ПАВЕЛ БУЛУШЕВ 69	ЭЛИДА ДУБРОВИНА 93
ОЛЕГ БУНДУР 70	МИХАИЛ ДУДИН 94
КОНСТАНТИН ВАГИНОВ 259	ЕЛЕНА ДУНАЕВСКАЯ 22
ОЛЬГА ВАКСЕЛЬ 257	СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВ 97
АСЯ ВЕКСЛЕР 71	ЛЕОНИД ЗАМЯТНИН 98
СВЕТЛАНА ВИШНЕВСКАЯ 73	ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ 231
ЛАРИСА ВОЛОДИМИРОВА 74	НИНА ИВАНОВА-РОМАНОВА 99, 266
СЕРГЕЙ ВОЛЬФ 75	ЕЛЕНА ИГНАТОВА 100
ЛЕВ ГАВРИЛОВ 76	ИГОРЬ ИНОВ 101

- ЕВГЕНИЙ КАМИНСКИЙ
23
- ПОЭЛЬ КАРП
103
- НАТАЛИЯ КАРПОВА
217
- СЕРГЕЙ КАШИРИН
104
- ДМИТРИЙ КЛЕНОВСКИЙ
265
- АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ
105
- СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ
107
- АЛЕКСАНДР КОМАРОВ
108
- НИКОЛАЙ КОНОНОВ
24
- ИГОРЬ КРАВЧЕНКО
218
- ЮРИЙ КРАСАВИН
109
- АНАТОЛИЙ КРАСНОВ
111, 169
- АЛЕКСАНДР КРЕСТИНСКИЙ
113
- ВИКТОР КРИВУЛИН
25
- ВИКТОР КРУТЕЦКИЙ
114
- ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ
115
- ЛЕВ КУКЛИН
196
- СЕРГЕЙ КУЛЛЕ
116
- АННА КУТЫЕВА
121
- АЛЕКСАНДР КУШНЕР
207
- ТАТЬЯНА ЛАПШИНА
27
- НАТАЛЬЯ ЛАНКОВСКАЯ
232
- ВЛАДИМИР ЛАХНО
121
- ОЛЕГ ЛЕВИТАН
233
- ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЙКИН
122
- АЛЕКСЕЙ ЛЮБЕГИН
124
- АНДРЕЙ ЛЯДОВ
125
- АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
128
- СЕРГЕЙ МАКАРОВ
128
- ВИКТОР МАКСИМОВ
130
- НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ
132
- ИРИНА МАЛЯРОВА
133
- РИММА МАРКОВА
235
- ДМИТРИЙ МИНИН
134
- ИГОРЬ МИХАЙЛОВ
135
- ЛЕВ МОЧАЛОВ
193
- ТАМАРА НИКИТИНА
137
- ЛАРИСА НИКОЛЬСКАЯ
138
- ТАТЬЯНА НИКОЛЬСКАЯ
261
- ГАЛИНА НОВИЦКАЯ
139
- БОРИС НОВОГРУДСКИЙ
27
- СЕРГЕЙ НОСОВ
29
- НАТАЛЬЯ НУТРИХИНА
139
- ИГОРЬ ОЗИМОВ
140, 146
- МИХАИЛ ОКУНЬ
30
- БОРИС ОРЛОВ
143
- ОЛЕГ ОСИПОВ
144
- ГЛЕБ ПАГИРЕВ
145
- НАТАЛИЯ ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА
236
- АЛЕКСАНДР ПЛАХОВ
148
- СЕРГЕЙ ПОГОРЕЛОВСКИЙ
149
- НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА
150
- ВАЛЕНТИН ПОПОВ
152
- ВЛАДИМИР ПРИХОДЬКО
153
- ЕЛЕНА ПУДОВКИНА
30
- АЛЕКСЕЙ ПУРИН
32
- НИКОЛАЙ РАЧКОВ
153
- ЛАРИСА РЕЙСНЕР
241

ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР 156	АЛЕКСЕЙ ФЛОТСКИЙ 36
СВЕТЛАНА РОЗЕНФЕЛЬД 237	ИЛЬЯ ФОНЯКОВ 81, 173
АНДРЕЙ РОМАНОВ 157	АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ 37
МИХАИЛ РОМАНУШКО 158	РИЗА ХАЛИД 174
МИХАИЛ САЗОНОВ 160	ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ 226
ИРЭНА СЕРГЕЕВА 160	ДМИТРИЙ ХРЕНКОВ 255
СЕРГЕЙ СКВЕРСКИЙ 33	ВАДИМ ХРИЛЕВ 176
ЮРИЙ СКОРОДУМОВ 57, 161	ОЛЕГ ЦАКУНОВ 178
НОННА СЛЕПАКОВА 219, 213	АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ 179
ЕВГЕНИЙ СЛИВКИН 163	ВЛАДИМИР ШАЛЫТ 181
АРСЕНИЙ СМОЛЬЕВСКИЙ 258	ЕЛЕНА ШВАРЦ 39
АНАТОЛИЙ СОРОКИН 164	ЮРИЙ ШЕСТАКОВ 182
ВИКТОР СОСНОРА 221	ВАДИМ ШЕФНЕР 183
ВОЛЬТ СУСЛОВ 166	ВИКТОР ШИРАЛИ 185
НИКИТА СУСЛОВИЧ 168	АЛЕКСАНДР ШКЛЯРИНСКИЙ 227
ЕЛЕНА ТАГЕР 46	ЭРИК ШМИТКЕ 41
ОЛЕГ ТАРУТИН 200	ЗОЯ ЭЗРОХИ 239
ДМИТРИЙ ТОЛСТОБА 171	ОЛЕГ ЮРКОВ 228
ГЕННАДИЙ УГРЕНИНОВ 224	НОРА ЯВОРСКАЯ 186
ВЛАДИМИР УФЛЯНД 119	АВГУСТ ЯРКОВЕЦ 187
ЕЛЕНА УХОВА 34	МИХАИЛ ЯСНОВ 188
ЕЛЕНА ФИЛИППОВА 34	

День поэзии 1989

Худож редактор *Б. А. Комаров* Техн редактор *Л. П. Полякова*. Корректор *Т. Л. Кувшинская*.
ИБ № 7125

Сдано в набор 27.02.89. Подписано к печати 08.09.89. М 21223. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 22,10. Уч.-изд. л. 16,82. Тираж 50 000 экз. Заказ № 18. Цена 1 р. 80 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Литейный пр., 36. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛЕОНИД АГЕЕВ

Главный редактор

МАЙЯ БОРИСОВА

СЕМЕН БОТВИННИК

АСЯ ВЕКСЛЕР

ТАТЬЯНА ГАЛУШКО

(составитель)

АНАТОЛИЙ КРАСНОВ

ВИКТОР МАКСИМОВ

(составитель)

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВСКИЙ

ВАДИМ ШЕФНЕР

К столетию Анны Ахматовой:
 известные и неизвестные стихи;
 три письма И. Бродско-
 му; из записок Т. Тёки-
 на о встречах с А. Ах-
 матовой; А. Рейснер об
 акмеизме. Свиток скорби:
 имена ленинградских писа-
 телей, погибших в годы ста-
 линских репрессий; „лагер-
 ные“ стихи. Поэзия К. Ва-
 гинова. Из написанного
 в эмиграции. 22 ав-
 тора - впервые в „ДТ“